

Виктор Некрасов

ЗАПИСКИ ЗЕВАКИ
ПОВЕСТЬ



ImWerdenVerlag
München
2009

ЗЕВАКА (разг., фам., пренебр.) — человек, праздно, с тупым любопытством на все глазающий, разиня, бездельник. («...За слоном толпы зевак ходили». И. Крылов.)

Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка

ЗЕВАКА — человек, праздно засматривающийся на что-либо, ротозей. («Лица не видно, но зрителю ясно, что это зевака, который ни за что не пропустит интересного зрелища». В. Гаршин. «Заметки о художественной выставке».)

Толковый словарь русского литературного языка. В 17 томах. Изд. Академии наук СССР

Решительно становлюсь на защиту зевак и категорически протестую против тенденциозности и пренебрежительного тона определений Ушакова и составителей семнадцатитомного словаря. Разиня, бездельник и ротозей — это разиня, бездельник и ротозей, а вовсе не зевака. Зевака — это действительно человек, глазающий или засматривающийся на что-либо. Но почему обязательно с тупым любопытством? А если не с тупым? Праздно? Пожалуй. Человеку по каким-либо причинам некуда торопиться, вот он и «глазеет», «засматривается». А люди, у которых нет на это времени (так говорят они, а мы добавим «и охоты»), глядя на него, говорят — «делать ему нечего, вот и раззявил рот». Но так можно сказать и о старом, на первый взгляд свихнувшемся бездельнике, гонящемся с сачком за бабочками, а он оказывается энтомологом, или о человеке, «тупо» следящем за полетом чаек, а он просто крупнейший специалист по планерам.

Нынешняя жизнь сложилась так, что у среднего, нормального гражданина нет времени глазеть и на что-либо засматриваться — он всегда занят. А когда не занят, в лучшем случае читает, ходит в театр, занимается спортом, в худшем — смотрит телевизор, поучает детей, как надо жить, или пьет. Конечно же, быть зевакой, то есть, на его взгляд, быть бездельником, у него нет времени, да и охоты, и поэтому зевак он презирает. Я же не только не презираю, но защищаю и утверждаю, что зевакой быть надо, то есть быть человеком, который, как сказал Гаршин, «не пропустит интересного зрелища». А интересное зрелище вовсе не слон, которого водят по улице (его можно увидеть и в зоопарке, и рассматривание его там почему-то не считается «зевачеством»), — интересное разбросано буквально на каждом шагу, оно у нас под ногами, пред глазами, над головой, но мы его просто не замечаем. Не замечаем потому, видите ли, что мы люди дела, люди занятые и на пустяки терять время не хотим. Поэтому мы не знаем, как выглядит фасад дома, в котором мы живем (Химки-Ховрино и им подобные московские окраины не в счет), что изображено на барельефе над правым входом в

МХАТ или стенах Казанского вокзала. А ведь сделано это для вас, серьезные, занятые люди, именно для вас, и именно для вас я, зевака, и написал эти записки.

Но тут же оговариваюсь и предупреждаю — если ты, читатель, любитель крепко сколоченного сюжета, завлекательной интриги, интересных, со сложными характерами героев, если ты любишь длинные, подробные, сотканые из деталей романы или, наоборот, сжатые, как пружина, новеллы — сразу предупреждаю: отложи эти страницы. Ничего подобного ты здесь не найдешь.

Но если ты, кроме чтения и других полезных или даже бесполезных занятий, не прочь просто так, без дела, походить по улицам, руки в брюки, папиросу в зубы, задирая голову на верхние этажи домов, которых никто никогда не видит, так как смотрят только вперед (или направо, налево, витрины, киоски), присаживаясь у столика кафе или на скамеечке в скверике среди мам, бабушек, ребятишек и пенсионеров, если ты любишь заводить случайные, обычно тут же обрывающиеся, но запоминающиеся знакомства, если тебе без плана нравится бродить по улицам незнакомого города, предпочитая их шум или тишину — тишине прославленных музеев, — если ты такой, то, может быть, ты найдешь кое-что близкое, переворачивая эти странички. Тогда беру тебя в спутники. Условие одно: пока мы гуляем, ты молчишь, а говорю я. Ты заговоришь потом, и тогда, может быть, завяжется диалог. Пока же — монолог. И второе: не удивляйся, если, выйдя с тобой, например, из московского Центрального телеграфа и свернув налево, мы попадем не на улицу Герцена, а на площадь Тертр возле собора Сакрэ-Кёр на Монмартре или начнем вдруг выбирать пудовые арбузы у мечети Биби-Ханум в Самарканде... И третье: прости, буду иногда, даже довольно часто, растекаться мыслью (мыслью, белкой — до сих пор идут споры среди ученых) по древу — отвлекаться в сторону, вспоминать прошлое, говорить иногда о пустяках, а иногда и не о пустяках, etc. Если это небольшое условие тебя удовлетворяет, приглашаю в спутники

* * *

Я не гонюсь за последовательностью и хронологией, но начну все-таки с самого начала.

Известный киевский детский врач возмущался моей матерью:

— Вы что, решили сразу же заморозить ребенка? На дворе пятнадцать градусов мороза, а вы его на балкон. Немедленно убрать!

Но меня не убрали. Первые месяцы своей жизни я провел на балконе — большом, просторном, каких в новых домах теперь не увидишь. Это были мои первые прогулки. Без участия, правда, ног. Вероятно, больше спал, но иногда, возможно, и глядел. На что? А было на что.

Родился я в самом центре древнего Киевского княжества. И если не на месте самого терема Владимира Красное Солнышко, то, во всяком случае, совсем рядом. Возможно, даже там, где жили, а потом замучены были язычниками и принесены в жертву Перуну двое варяг, христиан — Иоанн и Федор. В честь их

соорудили церковь. Называлась она Десятинной, так как на ее постройку пошла десятая часть княжеской казны. При Батые церковь рухнула — хоры не выдержали толпы людей, спасавшихся от татар. Построили на том же месте другую в XIX веке, тяжелую и некрасивую, но и она не дожила до наших дней. С моего балкона ее хорошо было видно.

А родился я на тысячу лет раньше, с моего наблюдательного пункта (вознесись он столь высоко) виден был бы Перунов холм, где стоял гигантский идол, сброшенный при крещении Руси князем Владимиром в Днепр. А еще раньше, по преданию, здесь же воздвигал свой крест Андрей Первозванный. Позднее, уже не по преданию, а по указанию Елизаветы Петровны, Растрелли на этом же месте вознес к небу одну из изящнейших в нашей стране церквей — Андреевскую, легкую, ажурную, рококошную, над крутым, заросшим кустами обрывом, по которому катились в Днепр изваяния богов — «Перуна Деревянна, а голова его серебряна, а ус золот, и Хорьса и Дажьбога, и Стрибога, и Семарьгла и Мокошь».

Где-то тут же, в треугольнике между Перуновым холмом, княжеским теремом и моим НП¹, находился «Бабин торжок» — рынок и в то же время форум, — Владимир вывез из Херсонеса и воздвиг здесь античные скульптуры «дивы». Отсюда и древнее название Десятинной церкви — «Богородица у Дивов», отсюда же, очевидно, и «Бабин Торжок».

Знали ли мои родители, снимая квартиру в большом угловом доме № 4 по Владимирской улице, сколь «исторично» место, ими выбираемое? Не думаю. А вот Костомаров и Врубель, жившие в доме напротив, но несколько раньше, очевидно, все же знали, но, думаю, выбрали этот уголок не потому, что здесь когда-то в великокняжеских златоверхих теремах лился рекою мед, а просто потому, что тут красиво, и рядом Андреевская церковь, и вид на распластавшийся внизу Подол, и на Днепр, и на заднепровские дали...

Вот в таком месте я и родился. И крестился. И начал расти, хотя поп из соседней Десятинной церкви, будучи не слишком трезв, чуть не утопил меня в купели. Мать говорит, пришлось применять искусственное дыхание.

С тех пор прошло шестьдесят три года, но я до сих пор почему-то не решаюсь ступить ногой на балкон, сыгравший столь существенную роль в деле познания мною внешнего мира. Почему? А Бог его знает почему. Я и в школу свою после окончания не заходил, и в квартиру довоенную, сожженную немцами, хотя там тоже балкон и с детства любимый красивый вид на Лавру, Печерск, Голосеевский лес... Остерегаюсь как-то встреч с прошлым. Боязно...

Впрочем, я неточен. Я не захожу в дома, в квартиры, но по местам своего детства часто брожу. Вот и недавно совершил такую мемориальную экскурсию. Зашел купить аэрозоль от тараканов в хозяйственный магазин на углу улиц Горького и Толстого (на месте нынешнего большого дома в «мои» дни стоял маленький, одноэтажный, в котором когда-то была редакция антисемитского «Киевлянина») и, увидав каштаны бульвара, того самого, по которому шестнадцать

¹ НП — наблюдательный пункт. — Прим. авт.

лет ходил в школу, профшколу и институт, решил что-то восстановить в памяти. Начал спускаться.

Улица моя — Горького, а до этого Пролетарская, а до этого Кузнечная — была булыжной с кирпичными или плиточными (такие плиты сохранились еще во Львове) тротуарами, и было на ней в нашем квартале всего три фонаря. Сейчас асфальт и фонарей не меньше полусотни.

У большого шестиэтажного дома остановился. Здесь, как пишут в биографиях, он прожил свои юные годы — в общей сложности двадцать пять лет.

Так же я стоял перед этим домом в декабре 1943 года, заехав на недельку к матери по дороге из госпиталя в свою воинскую часть. Стоял и, задрвав голову, смотрел на узенький трапецеидальный балкон на пятом этаже. Там мы жили. В квартире № 17. Школа, профшкола, институт, театральная студия... Шесть комнат, когда дом принадлежал домовладельцу Гугелю, и две, когда нас «уплотнили». Сейчас ни одной — все сожжено, только стены закопченные, провалы окон, искореженные, чуть ли не в узлы завязанные железные балки. Но на балконе, на нашем балконе, все тот же повзрослевший за два с половиной года, растущий прямо из бетона тополек. А рядом с тополком — о чудо! — пощаженные почему-то огнем несколько вязанок дров. Я долго стоял и соображал, как бы снять их оттуда — лестничная клетка сохранилась, а перекрытия все рухнули. Достань я их, и мамина буржуйка спокойно могла бы просуществовать недели две, не меньше. Мечтам моим не суждено было осуществиться: на следующий день дров уже не было, меня опередили. Но как? До сих пор ломаю голову.

Прожил я в этом доме двадцать пять лет — с 1915-го по 1940-й. В 1941 году заезжал на несколько дней, менять паспорт — работал тогда в Ростове-на-Дону, в театре. Когда вспыхнула война, я оказался за сотни километров от дома. Немцы окружили Киев, но телефонная связь поддерживалась, и я ежедневно говорил с матерью по телефону. Голос у нее, как всегда, был бодрый, интонации оптимистические, но я знал, что мы если и увидимся, то не скоро.

Когда меня взяли в армию, в августе сорок первого, я сразу же сообщил об этом матери.

— Ну и правильно, и хорошо, — услышал я в трубке ее веселый голос. — Я очень рада за тебя. Нельзя отсиживаться сейчас в тылу. Иди... Только не забывай писать.

Не всякая мать скажет такое своему сыну. А моя сказала. Правда, в свое время она произнесла, не помню, по какому поводу, совсем уж не педагогическую фразу: «Викун, прошу тебя, никогда не будь благоразумным». Я на всю жизнь запомнил эту просьбу и в меру сил своих пытаюсь ее выполнять.

Итак, двадцать пять лет. Как говорят, лучших. Двадцать пять лет я выходил из этой дубовой, с зеркальными стеклами, в виде какого-то узора, двери (сейчас она сосновая и никакого узора) и куда-то отправлялся. Сначала с лопаткой в Николаевский парк, потом с тетрадками, а зимой и с тремя поленьями в школу, потом в профшколу, потом с рулонами ватмана в институт, иногда с плавками на пляж или вечером в кино.

В Николаевском парке были солдаты и домработницы, тогда они назывались прислугами. Солдаты всех национальностей — русские, украинцы, осетины, немцы, поляки. Все без исключения любили нас, детей, а заодно и наших нянь. Няни подсаживались к солдатам, а детвора полировала своими задками поверженного Николая I, бронзового, длинноногого, слегка лысеющего, лежащего у собственного постамента, или бежала к «Черному морю» — маленькому бассейну его очертаний — и гонялась там друг за другом, лихо прыгая через Босфор и воюя за Крым. Сейчас наше милое море густо обсадили цветами, и никто из ныне резвящихся детей даже не подозревает, что эти цветы от них скрывают.

Но кончилось золотое детство, началось образование. Сначала одна гимназия — Хорошиловой, — тут же на Кузнечной, младший приготовительный, потом вторая — Сороколовой — на Пушкинской, старший приготовительный. Это единственное учебное заведение моего прошлого, в котором я не очень часто, но все же бывал. Там редакция журнала «Радуга», членом редколлегии которого я был двадцать лет, пока меня оттуда не изгнали. И, возможно, точно уж не восстановишь, мне на собрании выносили строгий партийный выговор в том самом «классе», в котором батюшка преподавал нам Закон Божий.

В 1919 году меня перевели на Большую Подвальную, в гимназию Шумейко, которая вскоре стала 43-й Единой трудовой школой. С тех пор начались мои прогулки (правда, вынужденные) по одному и тому же маршруту — в школу, профшколу, институт, — до бульвара Шевченко все эти маршруты совпадали. И за все шестнадцать лет ничто на моем пути не менялось. Только вырастали деревья да один раз университет из красного (стены и колонны красные, капители и базы колонн черные — цвета ордена святого Владимира, имя которого было присвоено университету) стал кремовым, но, слава Богу, ненадолго.

Во все свои учебные заведения я всегда опаздывал. В приготовительные классы — потому что по утрам долго молился. Стоя в кровати на коленях и сложив по-католически руки ладошками, я просил у Николая-чудотворца, святого Пантелеймона-целителя (откуда они в нашей атеистической семье появились — одному Богу известно) простить мне мои прегрешения — вчера раздавил в ванной таракана и долго плакал над судьбой осиротевших «тараканкиных детей». Мой старший брат Коля невероятно возмущался моей религиозностью и даже написал маме длинное послание, требуя удаления бонны, дурно влияющей на мое мировоззрение, — кроме веры в Бога она, эта же бонна, привила мне еще и верноподданническое отношение к престолу. Лет до восьми я был ярким монархистом и консерватором. Научившись читать и писать, я выражал свой протест против нового режима тем, что на всех афишах приписывал твердые знаки и менял, где надо, «и» на «і»... Мать ко всему этому относилась спокойно и на Колин меморандум ответила тремя словами: «Не беспокойся, пройдет». И прошло.

Итак, в первые два класса я опаздывал по соображениям идейно-религиозным. Потом — потому, что до школы было далеко и путь туда был небезопасен. Наш двадцать четвертый двор воевал с двадцатым, и почти каждое утро

противник подстерегал меня, чтобы избить, что иногда, правда, не часто, и удавалось ему. Я отчаянно сопротивлялся, но Надежда Петровна, классная наставница, разглядывая очередной синяк, почему-то не очень верила, что я «случайно ударился о шкаф».

В профшкольские и институтские годы я опаздывал потому, что поздно ложился спать и утром еле продираал глаза. В силу этого мне пришлось подделывать подпись профессора Ярина в матрикуле, так как его лекции по железобетону начинались всегда в восемь часов. Много лет спустя на литературном вечере в том же институте я публично признался профессору Ярину в своем жульничестве, и, представьте себе, он ничуть не обиделся, только смеялся, сидя в президиуме.

Короче, во все свои учебные заведения я всегда мчался как угорелый, иногда вскакивал на ходу на завороте в 8-й номер трамвая. Но я нечасто им пользовался, ходил он редко, набит был всегда так, что даже на подножку стать было невозможно, а висеть два квартала, держась за чье-то пальто, было утомительнее, чем бежать.

На пути моем было двое часов — в крайнем левом окне на втором этаже университета и у Управления Юго-Западных железных дорог — большие, над входом на кронштейне, с надписью «Точное время. Проверка по радио». Надпись эта внушала определенное уважение, хотя каждый раз я убеждал себя, что часы наверно спешат. Сейчас, проходя мимо университета и никуда не торопясь, я машинально поворачиваю голову в сторону окна с часами, хотя лет тридцать их уже нет. И мне становится чуть-чуть грустно — удобные были часы, хотя, ей-Богу, всегда спешили, так же как, не сомневаюсь, и у школьного нашего сторожа Варфоломея Степановича.

В самом центре Киева, над Крещатиком, высится двухсотметровая телевизионная башня. Почему бы на ней не соорудить громадные, видные со всех концов города часы? Вот было бы удобно! Свой киевский Биг Бен, Спасская башня, только еще выше, а главное, оригинальнее — нигде, по-моему, такого нет.

Прости, читатель, вспоминая детство, становишься ребенком...

Обо всех этих часах, трамваях 8-й номер, мальчишках из враждебного двора я вспомнил, глядя на свой балкон, уже без тополя, в день своей мемориальной экскурсии. Постоял, повспоминал и пошел дальше.

Пересек улицу Саксаганского (когда-то Жандармскую, Марино-Благовещенскую, Пятакова, а когда Пятакова посадили, то Леонида Пятакова, его брата, вовремя умершего), зашел в продмаг, купил «Беломор». Когда-то здесь был Сорабкоп (почему-то через одно «о»), и лет сорок тому назад я, трепеща и волнуясь, именно в нем купил свою первую поллитровку. Я мог позволить себе такую мужественную роскошь, зарабатывая старшим рабочим на Вокзалстрое сто рублей. Было мне тогда девятнадцать лет. Тогда же я впервые и побрился в парикмахерской, тут же, рядом с Сорабкопом. Брить было нечего, я очень волновался, потел, боялся, что парикмахер состриг что-нибудь по поводу моего гладкого, как колено, подбородка, но он оказался деликатным и даже дважды намылил меня. В эту же парикмахерскую я зашел в 1944 году, вернувшись в

Киев после ранения (кстати, Николай Митясов из повести «В родном городе» — тоже), но старого Давида уже не было, сохранилось только его зеркало с двумя амурчиками наверху. Я спросил парикмахершу о Давиде. Она грустно посмотрела на меня: «В Бабьем Яру...»

Бабий Яр... Одна из наиболее трагических страниц истории Киева, мимо которой никак не пройдешь. И мы не пройдем, побываем там. Но это потом.

Сейчас же — я вышел из парикмахерской, пересек улицу и остановился у дома № 32. С этим домом, вернее, с одной из его квартир, у меня многое связано. И довоенное, и военное, и послевоенное. И веселое, юное, и трагическое, и горькое, и уютное, милое, а все вместе очень значительное, на всю жизнь. Но об этом в другой раз. Скажу только, что «В окопах Сталинграда» в основном писались именно здесь, в большом старинном кресле, у окна, сквозь которое был виден столетний вяз на противоположной стороне улицы, весь усеянный гнездами...

В тот последний военный и первый послевоенный год мы все заново увлекались Хемингуэем, много о нем спорили, и, вероятно, именно поэтому маленькая дочка хозяйки Ирка, когда я садился в свое кресло, строго говорила: «А теперь тишина, дядя Вика сел за своего Хемингуэя...»

Вот с этого самого «Хемингуэя» и началась литературная деятельность автора этих строк. Но на самом деле, скажу по секрету, все это началось значительно раньше.

Как-то, роюсь в старых бумагах, я обнаружил несколько тетрадных страничек, испещренных крупным детским почерком. Это оказалось не более и не менее как либретто оперы (!!!) «Карл и Мария», которое и осмеливаюсь робко вынести на суд читателей. Думаю, что для любителей стремительно развивающегося сюжета это, безусловно, находка, если предлагаемые «Записки зеваки» по моей просьбе не отложены в сторону.

Вот это либретто. Привожу его полностью, текстуально, позволил себе только запятыя вставить.

КАРЛ И МАРИЯ

Опера в 5 действиях, 9 картинах, с балетом

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Мария — дочь богатого графа

Карл — офицер

Граф Люис — отец Марии

Генерал Гамлет — генерал

Александр — богатый барон

Графиня Люция Люис — мать Марии

Солдаты, гости, священник, слуги, бандиты и другие

Действие I

КАРТИНА 1-я

Бал у графа Люиса. Оркестр. Танцы. Среди гостей офицер Карл. Входит Мария — очень красивая. Она танцует с Карлом. Карл поражен ее красотой, влюбляется в нее. Он ей тоже нравится. Во время бала они сидят вместе, обнявшись, и Мария говорит Карлу, чтоб он к ней пришел этим вечером. Бал продолжается.

КАРТИНА 2-я

Комната Марии. Мария с нетерпением ждет Карла и поет. Вдруг из балкона выходит Карл. При виде Карла Мария бросается ему в объятия. Они начинают разговаривать, причем Карл говорит Марии, что хочет на ней жениться. Мария согласна, но говорит, что отец хочет ее выдать за знатного барона Александра, которого она не любит. Во время разговора Карл говорит, что он состоит в тайном обществе. Вдруг за дверью слышны шаги. Карл выпрыгивает в окно. В дверях появляется Александр. Он ухаживает за Марией, но она к нему относится презрительно.

КАРТИНА 3-я

В комнате Карла собрание тайного об-ва. Они обсуждают вопрос об убийстве царя. Вдруг появляется в дверях отряд жандармов, которые после короткой битвы связывают заговорщиков и уводят в тюрьму.

Действие II

КАРТИНА 1-я

В тюрьме. Пленные сидят и говорят. Карл предлагает выпилить решетки в окне и убежать. Все начинают пилить. После долгой работы окно освобождается, и пленные убегают. Входят сторожа и никого не находят.

КАРТИНА 2-я

В комнате Марии. Бедная Мария грустная сидит и вспоминает о Карле. Приходит отец и утешает, но она не утешается. Отец уходит. Вдруг в окне появляется фигура Карла. Мария при виде его поднимается и, подняв руки, медленно идет к Карлу. Потом узнает его и с криком радости бросается ему в объятия. Они долго стоят в этом положении, потом садятся рядом на диван и он ей рассказывает, как спасся. Она говорит ему, что у нее завтра свадьба с нелюбимым Александром. Карл говорит Марии, что он ее похитит перед свадьбой. Потом, последний раз обнявшись, Карл уходит в окно.

Действие III

Большая зала. Много гостей. Александр радостный и грустная Мария сидят рядом. Вдруг Мария говорит, что у нее болит голова и она пойдет напиться воды. Уходит. Александр сидит один. Начинается балет. Наконец приходит священник, ищут Марию, не находят. Переполох. Александр падает в обморок.

Действие IV

КАРТИНА 1-я

Большое поле. Вокруг лес. Карл и Мария приходят. Они садятся на бугорке и засыпают. Вдруг появляется погоня в лице 3 человек (в том числе Александра). Карл убивает 2 противников и дерется с Александром. После дуэли Александр падает мертвым. Начинается утро. Карл и Мария обнимаются и смотрят на труп, потом берут свои вещи и уходят.

КАРТИНА 2-я

Маленькая хижина, в которой живут Карл и Мария. Карл пошел за дровами, Мария копает огород. Вдруг она в земле находит железный сундучок, это клад. В нем золото. Мария радуется. Входит Карл. Мария бросается ему в объятия и с радостью сообщает о кладе. Карл берет сундучок, открывает его и видит, что он полон золота. Оба поют от радости.

Действие V

Действие происходит через один год. Большая, светлая, красиво убранная комната. Там сидят разбогатевшие уже и поженившиеся Карл и Мария и вспоминают прошлое. Потом смотрят друг на друга, медленно подходят и, обнявшись, целуются.

Конец

По-моему, прекрасная опера. Лаконичная, действенная, с чудесным оптимистическим концом. Непонятно, правда, куда девался анонсированный в начале, в списке действующих лиц, генерал Гамлет, но вопрос этот надо решать уже с режиссером, так же как о роли и месте появления бандитов, тоже объявленных в начале пьесы.

С возрастом появились новые увлечения, но с «литературой» не рвал. Кое-что из тех дней мать сохранила. Перечитываю, смеюсь. Другим не читаю.

Напечатался же впервые через десять лет, в 1932 году, в журнале «Советский коллекционер». В те годы я уже не так увлекался собиранием марок, как рисованием их. Когда Наркомпочтель (так называлось тогда Министерство связи) объявил всесоюзный конкурс на марки, посвященные дирижаблестроению,

я послал несколько своих эскизов. Премии никакой, конечно, мне не дали, но предложили зато сделать несколько заставок для журнала. Я был на седьмом небе от счастья. Сделал. Послал. Напечатали.

А дальше? Дальше была моя статья о коллекционировании. В том же журнале. В конце статьи несколько слов об оформлении самого журнала. Покритиковав в меру обложку и еще что-то, я, из деликатности или скромности, покритиковал и заставку «Библиография», автором которой был не больше и не меньше как я сам. (Дело в том, что я послал два варианта, один «левый», другой достаточно банальный — книжки на полке, — его я и критиковал.) Журнал не без юмора отметил в своей заметке «от редакции», что автор статьи по непонятным для редакции причинам оказался в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла...

Вот так я начал.

О дальнейших своих шагах на этом поприще я уже где-то упоминал. Писал что-то «заграничное», с мягко шуршащими шинами «роллс-ройсами», детективы с поисками кладов (вместо этого мальчишки находили запрятанное диверсантами оружие), сногшибательные шизо-фантастические истории (конференция памятников в московском Музее Пушкина, куда героя по знакомству приводит влюбившаяся в него леонардовская Мона Лиза), любовные псевдогамсуновские рассказы, а в 1940 году (мне было уже почти тридцать!) — даже военный рассказ на материале финской кампании, о которой знал только по газетам. Все это усердно куда-то посылалось, но, к счастью, очень скоро возвращалось. Я обижался, дулся, но «пера не бросал».

Но оставим пока литературу в стороне и, минуя столь существенный в моей жизни Сорабкоп и парикмахерскую, свернем за угол на родную мою Кузнечную. Метров сто вниз — и мы у тридцать восьмого номера. Сюда перебрались мать с теткой после того, как немцы сожгли двадцать четвертый. Седьмая квартира... О, что это была за квартира! Шесть лицевых счетов. И шесть счетчиков в квартире. И шесть лампочек. И в кухне тоже шесть, и в уборной шесть. Кто-то из моих друзей, глядя на это лампочное созвездие, дал меткое ему определение — «гроздь гнева». Электропроводка в коридоре тоже достойна была внимания. Не только пожарников, но, пожалуй, и художников. Замысловатое переплетение проводов, будь над ним соответствующая надпись («Композиция 101») и окажись оно на какой-нибудь венецианской «Биеннале», безусловно, было бы отмечено художественной критикой. Думаю даже, что со знаком плюс.

Больше ничем тридцать восьмой номер не знаменит, а остановил я тебя, читатель, у этого дома только потому, что именно в нем, на четвертом этаже, в упомянутой седьмой квартире я впервые обнял и поцеловал мать после двух с половиной лет разлуки. Она стояла в заставленной незнакомой мебелью комнате с черным, закопченным потолком, склонившись над печуркой, и варила суп из концентратов. Было это в декабре 1943 года. В августе 1944-го я вторично и окончательно вернулся в эту комнату, в которой прожили мы еще шесть лет и без всякого сожаления в пятидесятом году расстались.

Вот и все об этом доме. Сюда мы больше не вернемся, а свернув налево за угол (как видишь, читатель, само собой как-то получилось, что ты стал моим спутником), выйдем на Красноармейскую (бывшую Большую Васильковскую). Здесь, на углу, против здания оперетты, высится 16-этажный, так называемый точечный дом. Когда-то на его месте стояла маленькая, незavidная Троицкая церковь, с которой у меня связаны грустные воспоминания. Именно сюда приходил я в Вербное воскресенье и возвращался назад, закрывая ладонями горящую свечку, чтоб ее не задуло ветром. И именно здесь я в первый (кстати, и в последний) раз причащался. Я хотел по всем правилам до утра поститься. Но не вышло — меня заставили съесть котлету. Это было святотатство. Я ревел весь вечер...

Потом церковь снесли (в одну ночь) и на ее месте выросла шашлычная. Столики на открытом воздухе, напротив — продуктовый магазин. Излюбленное место футбольных болельщиков: в трех минутах ходьбы от шашлычной — Центральный стадион. Прозвана шашлычная «Барселонкой». Почему — неизвестно. Потому же, почему диетический гастроним на Крещатике со столиками для кофе (только ли кофе?..) на втором этаже называется «Ливерпуль», а открытое на свежем воздухе кафе на том же Крещатике, против улицы Ленина, — «Мичиган», хотя настоящее его название, горящее неоновым над столиками, — «Грот»... Крещатицкий жаргон, что поделаешь.

Сейчас «Барселонки» уже нет, вместо нее — «точечный» дом с магазином строительной книги на первом этаже. Тут же неподалеку — остановка троллейбуса. Если ехать дальше по Красноармейской, попадем в Голосеевский лес и на выставку передового опыта, если в другую сторону — попадем на Крещатик. Выберем этот, второй маршрут.

* * *

Нет, мы не сядем в троллейбус и не поедем на Крещатик. Поедем позже, но не сейчас, не сразу... Настало время поговорить о другом...

Все, что тобою, читатель, прочитано до сих пор, написано более трех лет тому назад. И многое из того, что тебя ждет впереди, написано тогда же. Но...

Написано-то было написано, и после последней фразы (можешь заглянуть в конец, она сохранилась) «До следующей встречи!» поставлен был восклицательный знак, и аккуратно перепечатанное на машинке отнесено в любимый журнал «Новый мир», где все принесенному обрадовались и сказали «наконец-то!», и что-то там потом было исправлено и добавлено (без этого нельзя), и опять прочитано, и написано, наконец, в левом углу рукописи «в набор», и...

На этом все кончилось.

Нет, не кончилось, началось нечто новое. Все изложенное несколькими строчками выше: все эти «принес, исправил, добавил, опять принес» — происходило не так молниеносно, как в той фразе, — длилось оно не меньше года! И год этот был далеко не самым уютным в моей жизни. Но поскольку уж я вы-

брал ту спокойную, неторопливую манеру изложения, я не внес в рукопись никаких существенных коррективов, а принес и положил ее на стол редактору. Тогда-то, через два или три дня, была поставлена долгожданная надпись «в набор». Набрали, дали почитать, а потом набор рассыпали. Есть такое странное слово, вернее действие — рассыпать набор. Вот и рассыпали.

Конечно, главный редактор журнала, человек не злой и к автору относящийся со всей симпатией, мог сказать:

«Дорогой мой Виктор Платонович! Не сетуйте на меня, я здесь абсолютно ни при чем. Просто позвонили мне и сказали... Ну, вы сами понимаете, не ребенок...» — и тут развел бы руками и улыбнулся бы той самой улыбкой, которая в данном случае обозначала бы: «Все мы под ЦК ходим, что поделаешь...» Ну, и автор в ответ улыбнулся бы той же понимающей улыбкой, и, поговорив еще о том о сем, собеседники расстались бы, убедив друг друга, да в общем-то и не убеждая — не маленькие дети, — что лучше подождать, время покажет...

Но редактор избрал другой путь: «А не поработать ли вам еще над этим местом, а? С вашим умением и талантом...» Местом этим он избрал главу о Бабьем Яре, а так как главу эту я уже сократил и перерабатывать ее больше не хотел (ох, уж этот Бабий Яр!), то я просто обиделся, и расставание наше вышло куда менее теплым, чем встреча. Кстати, о том, что набор рассыпан, мне сообщили по секрету и просили не выдавать.

На этом моя двадцатилетняя дружба с самым либеральным журналом, как называется на Западе «Новый мир», кончилась (через полгода мне рукопись вернули и даже заплатили 100% гонорара), и я понес свое неродившееся дитя в другой журнал — «Москва». Журнал этот считается куда менее либеральным, но редактор его в силу причин, я сказал бы, сентиментально-фронтных (оба мы в свое время воевали в Сталинграде, и оба — простыми офицерами) рукопись принял тут же и даже 60% гонорара заплатил.

В этом журнале никаких поправок и дополнений у меня не требовали, но почти сразу же после сдачи рукописи на меня в Киеве заведено было очередное партийное дело, потом из партии исключили, и, само собой разумеется, ни о каком печатании не могло быть и речи...

За неделю до моего отъезда за границу я зашел в редакцию — там мы поахали, поохали, чего только в жизни не бывает... — и расстались. Рукопись я им подарил на память, положенные 40% в бухгалтерии получил, так что никто ни на кого в обиде не остался...

К чему я обо всем заговорил, не дав войти в растворившиеся двери троллейбуса?

А просто для того, чтобы поговорить о том, как пишутся книги. И эта в частности.

У Синявского, в одной из его статей, сказано — настоящая, большая литература может появиться только в стране, где писать запрещено. Это писателя ожесточает, собирает в кулак, и самый факт, что он пишет то, что думает, наперекор всему заставляет его писать кровью сердца, перешагивая через все препоны.

Но это только в том случае, если писатель решился на все.

Но есть тысячи писателей — я говорю о нашей стране, — которые по тем или иным причинам на это не идут. Одни — потому, что им хочется быть признанными, отмеченными и восхваление они ставят себе только в заслугу (известный режиссер Равенских написал даже статью «Трудное искусство восхваления»!), а другие — просто потому, что иначе не напечатают, а писателю нужно печататься, с этого он живет. Так родилась литература «социалистического реализма»; литература не обязательно лживая, но не позволяющая себе перешагивать определенные пределы. Пределы эти, границы — то расширяются, то сужаются. Разного рода общегосударственные кампании — то против низкопоклонства перед всем западным, то против алкоголизма или «дегероизации», то за «бесконфликтность» — борьба хорошего с еще лучшим, то вдруг оказывается, что мало пишут о рабочем классе, а надо больше, — одним словом, писатель должен внимательно читать газеты и, не отрываясь от действительности (а был и «историзм», за который тоже доставалось), идти все время в ногу...

Я относился к этой, второй, категории писателей и если не всегда шел в ногу (это мне не раз давали понять), то писал все-таки для того, чтобы печататься, а не «в стол».

Иными словами, я был той самой солженицынской «образованщиной» (хотя с образованием у меня было и неважно — «Что делать?» Чернышевского не читал и «Капитал» К. Маркса тоже), которая не выполняла облагораживающих заповедей «жить не по лжи», — на собрания ходил, газеты читал (!) и если не отдал сына в школу и армию, то только потому, что его у меня не было. К тому же, как уже упомянуто, писал и печатался в советских журналах, а однажды как-то в одном номере рядом с «Иваном Денисовичем».

Скажем прямо — это нелегко. С годами к тебе приходит опыт, к тому же многолетний тренаж набивает руку, и с помощью умного редактора тебе удастся сказать то, что хотел сказать, иногда даже так, что цензорский комар и носа не подточит. Но увы, это не всегда удается. Тогда начинают бить! Как ни парадоксально, но не меньше, а часто даже больше доставалось писателям не второй, а именно первой категории. Наиболее шумно били (даже со специальными решениями ЦК) Эйзенштейна, Пудовкина, Эренбурга, даже таких уж правых и «без мыла лезущих», как Софронов и Корнейчук.

Меня тоже били. Сначала не очень больно, так, пошлепывали, потом все больше и больше, пока не перестали вообще печатать.

Забавно, что первые шлепки (а они начались сразу же после выхода моей первой книги) пресек сам Сталин. Мне присудили премию его имени, и, как выяснилось, присудил ее он сам. «Вы знаете, — сказал мне Всеволод Вишневский, редактор журнала «Знамя», где я был напечатан, закрыв дверь и выключив телефон, — вас сам Сталин вставил. В последнюю ночь. Пришлось срочно переверстать газеты». И это похоже на правду — на последнем заседании Сталинского комитета Александр Фадеев, председатель его, «В окопах Сталингра-

да» из списка вычеркнул — отсутствие, мол, масштаба, узость горизонта, взгляд из окопа, дальше бруствера ничего не видит...

И тут у всех читающих (и издающих) невольно возник вопрос. Что ж это такое? В книге одни солдаты и офицеры, никаких генералов, никаких политработников, и об отступлении рассказывается — кому это нужно? — и ни слова о коммунистической партии, и главное — глазам не верилось! — почти нет Сталина, так, в двух-трех местах, мельком... Загадка!

Да, многое в поступках Сталина было загадочным. Известно, что спектакль «Дни Турбиных» по пьесе Мих. Булгакова Сталин смотрел... 17 раз! Не три, не пять, не двенадцать, а семнадцать! А человек он был, нужно думать, все-таки занятой и театры не так уж баловал своим вниманием (он любил кино, ночью, и несколько фильмов подряд — в частности, все серии «Тарзана», — и чтоб все Политбюро сидело рядом), а вот что-то в «Турбиных» его захватывало, и хотелось смотреть, скрывшись за занавеской правительственной ложи. Верность престолу, долгу, присяге — этого, что ли, ему не хватало, ему, человеку, не верившему никому и никогда, кроме Гитлера!

Такова судьба первой книги. С легкой руки самодержца она заняла подобающее место на библиотечных полках и в курсах истории литературы. Вторая, третья, четвертая и все последующие — каждая имела свою судьбу — об этом когда-нибудь, в другом месте, — но, как ты, читатель, уже увидел, избранный мною, как и многими другими, литературный путь (писать и печататься) — оборвался. Оборвался на этих самых «Записках зеваки», которые сейчас у тебя в руках.

Битый и перебитый, в повязках и наклейках, я взялся за них в надежде, что все предложенное мною во вступлении — давайте гулять, глазеть и вспоминать — никого не заденет и все мои экскурсии в детство и юность, размышления о том о сем, миновав все рогатки, доберутся до читателя...

Не вышло, не добрались.

И вот сейчас, сидя уже не на своем киевском диване, где все это писалось, а в большом кресле у окна, за которым черепичные крыши и увитые плющом каменные ограды, я опять взялся за то, что три года тому назад было написано и так неудачно отнесено в редакцию.

Нет, ничего из написанного я не выкинул. Все, что я писал для того читателя, до которого эти строки доберутся теперь только через Сциллы и Харибды таможен и прочих рогаток, и, читая которые он будет многим рисковать, все это я оставляю нетронутым. Но за эти три года, особенно за последний, появилось столько новых маршрутов, а в голове столько новых мыслей, что не поделиться ими я не могу.

И читатель-то, кроме старого, привычного, любимого, появился сейчас у меня новый, который с полуслова-то и не поймет, ему объясни, растолкуй. И рождается из-под карандаша какое-то странное существо, с глазами и спереди, и на затылке, какое-то переплетающееся, с налезаящими друг на друга членами своими. Вот в каком я положении оказался, сидя в своем кресле и поглядывая на французские крыши и плющи... Но стоп! Интермеццо мое несколько за-

тянулось. Пора и на троллейбус. Вот он подъезжает — первый номер, как раз наш.

* * *

...Милый, милый Киев! Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета... Как я люблю твои откосы днепровские. Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считая звезды и прислушиваясь к ленивым гудкам ночных пароходов... А потом возвращались по затихшему, с погасшими уже витринами Крещатику и пугали тихо дремлющих в подворотне сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы...

Так вспоминал Киев, Крещатик лейтенант Керженцев «В окопах Сталинграда», лежа под дождиком в лопухах на берегу Донца, в ожидании, пока его саперы заминируют берег...

Разметало нас тогда, киевлян, по всем фронтам, от Петсамо до Севастополя, и никто из нас не знал, встретимся ли мы когда-нибудь с киевскими каштанами и будем ли считать звезды, лежа на днепровских откосах, и возвращаться по затихшему ночному Крещатику...

Мне повезло. Я вернулся. И квартира моя (моя ли?) в самом центре, самом сердце города, на Крещатике.

Встретился я с ним еще до встречи с мамой в том же декабре 1943 года, через месяц после освобождения города. Выскочил из грузовика у Крытого рынка, там, где кончается Крещатик и начинается Красноармейская. Я сказал кончается. Это неверно. Его просто не было. Горы битого, занесенного снегом кирпича, искореженные, торчащие из этих груд железные балки и узенькие, протоптанные в сугробах тропинки. Вот и все. И цепочкой, как муравьи, спешащие куда-то люди — на работу, за пайками, на толкучку...

А каким он был, Крещатик...

Скажем прямо, глядя сейчас на довоенные открытки, в особый восторг не приходишь — улица как улица, ну, чуть пошире других, дома как дома, четырехэтажные, зелень довольно жалкая, посредине трамвай...

Скажи нам это в 20—30-е годы, мы бы глотку перегрызли. Улица как улица? А где вы видали такие тротуары, такой ширины? Незавидные дома? А в начале улицы три восьмиэтажных дома, бывшие банки? А Бессарабка, Крытый рынок? А трамвай? Первый в России, и вагоны длинные, четырехосные, с тремя площадками, сиденья плетеные. Да что вы, ума лишились?

Да, мы влюблены были в свой Крещатик. И если не было в нем особой красоты, то какой-то шарм южной улицы был. По вечерам не протолкнешься. «Пошли на Крещик?» — говорили мы друг другу и слонялись по нему взад и вперед, толпясь у кинотеатров (пойти или не пойти на четвертую серию «Акул Нью-Йорка» или отложить на субботу?), грызя семечки, поглядывая на девиц. Красивые, черт возьми, киевлянки... А киевлянки ходили в каких-то ситцевых

платицах, ни помады, ни бус, ни колец, ни сережек (упаси Бог, из комсомола выгонят!), а мы, мальчишки, в юнгштурмовках (военного образца, а-ля Тельман) и кепчонках, задранных «по-ленински» назад. Серенькая, в общем, толпа, ничего яркого, броского. Появившиеся в тридцатых годах клетчатые ковбойки поражали своей сногшибательной пестротой и экстравагантностью.

Сейчас он другой, совсем другой... На месте взорванного (кстати, нами, а не немцами, как писалось раньше, чтоб еще больше очернить захватчиков) вырос новый (по кирпичику, по кирпичику — писатели, и академики вносили свой вклад...) — безвкусный, шикарнейший, намного шире прежнего, а теперь — о счастье! — заросший каштанами и липами (сажали сразу взрослые), заслоняющими своими кронами все эти башенки и арочки «обогащенной» архитектуры сталинских времен. С надеждой и упованием смотрю я на первые признаки плюща на Крещатике (о! французские домики!) — годик-другой — и станет он красивейшей улицей в мире.

Я люблю деревья. Они всегда мне что-то говорят, что-то напоминают. На одной из киевских улиц, с забавным названием Кругло-Университетская, росло дерево-гигант. Разросшимися своими стволами оно точно опекало, благословляло улицу. Когда его срубили — а его срубили, боясь, что оно упадет на прохожих, с годами оно все больше и больше склонялось, — улица осиротела, стала беспомощной и безликой. Раньше я ее любил, сейчас обхожу стороной.

Было и на Крещатике такое дерево-уникум, — если не ошибаюсь, американский клен, — он растет, всегда как-то валясь в сторону, нелепо изгибаясь и, наверно же, вызывая у городских садовников ненависть. Оно чудом сохранилось от бывшего Крещатика (вернее, от одного из его дворов) и, бесцеремонно нарушая ранжир новеньких лип и каштанов, просуществовало, нелепо и трогательно, тыкая во все стороны свои змееобразные ветви, почти четверть века. Совсем недавно его срубили — у нас не любят ярко выраженную индивидуальность.

Кроме этого дерева-индивидуалиста сохранилось на Крещатике еще десятка полтора довоенных деревьев — в самом его начале, возле тех самых дореволюционных банков. На открытке двадцатых годов это жалкие саженцы, обнесенные деревянным штакетником. Никакой солидности. А теперь под ними и от дождя укрыться можно. Правда, их замечают и пользуются их услугами только в этом случае. Вообще же, кроме крещатицких старожил, если они дожили до наших дней и что-то еще помнят, никто и не подозревает, что это тоже старожилы, тоже свидетели многого...²

Вообще, глядя на деревья, особенно чувствуешь бег времени. Как-то на заре своей юности, как всегда торопясь в школу, я на минутку задержался у Николаевского парка. Вдоль его решетки по Караваевской улице сажали тополя. Тоненькие, озябшие веточки. Тогда это была редкость. Я минутку постоял, посмотрел и побежал дальше. Недавно, проходя по тому же месту, я встретился у входа в парк с громадным, высотой в четырехэтажный дом, раскидистым топо-

² «Кто такие старожилы?» — спросили как-то меня. «Старики, прожившие много лет», — ответил я. «Нет, это люди, которые ничего не помнят. Даже старожилы не припомнят таких морозов, такой жары, такой теплой зимы... Вот кто такие старожилы...» — *Прим. авт.*

лем, который сейчас и двумя руками не обхватишь. Да, это был один из тех юнцов, которых на моих глазах сажали миллион лет тому назад. Впрочем, зачем гиперболы, сажали их лет пятьдесят тому назад, и, глядя сейчас на него, единственного выжившего и пережившего, я как-то очень ясно ощутил, что мы ровесники и оба не первой молодости.

Ох-хо-хо...

Так кто же сменил нас, в кепочках и тапочках, на Крещатике? Мальчики в джинсах и девочки в мини. И браслеты у них, и цепочки. И попытки встречаться в кафе...

В общем-то культа кафе, как везде на Западе, у нас нет. Больше на скамеечках, в саду, во дворе, а у счастливых с отдельной комнатой — в этой комнате. Но иной раз хочется выпить и на люду, на западный манер...

Таких мест на Крещатике — могу по пальцам сосчитать — пять. Три из них, собственно говоря, даже не кафе, а закулочные, но есть столики, а в двух шагах и гастроном — можно и сбежать. В «Ливерпуле» за столиками с разноцветными пластмассовыми стульями распивают «Тракию» и «Мельник», ставя бутылки под стол, откуда их выволакивают уборщицы или «недоперепившие», всем тут известные старики. («Ну как, дядь Петя, дела?» — «Да ничего, помаленьку. За ваше здоровье...»)

Чуть в стороне от столиков вьется длиннющая очередь. Это за «Киевским» тортом. Без него невозможно приехать из Киева домой — в Москву, в Ленинград, Свердловск, Иркутск. Сходите как-нибудь на вокзал и посмотрите — по два, три, а то и четыре торта везут. Психоз! (Из очередей, кроме этой, меня всегда поражали две их разновидности: за кормом для рыбок и на почтамте — чисто мужская — в погоне за юбилейными штемпелями на марки.) Кафе «Ливерпуль» — место встреч друзей осеннее, зимнее. Летом же «Морозиво» («Мороженое») у входа в Пассаж, «Мичиган» (он же «Грот») и «Бульонная» рядом с входом в метро. Публика во всех трех одна и та же, преимущественно студенты, художники, актеры, киношники, кое-кто из пописывающих. Чашечек с бульоном и так называемых «кремовок» (на языке официанток) для мороженого не так уж много, граненых стаканов побольше. Большинство посетителей друг друга знает. Сидят компаниями. Время от времени кто-нибудь бежит в гастроном...

В кафе «Крещатик» надо платить за вход, там эстрадные номера, здесь больше приезжих и любителей потанцевать. Рядом прилепился бар «Стекляшка», где знакомые «всему Крещатику» бармены (а они, в свою очередь, знают не меньше трех четвертей «всего Крещатика») разливают коктейли всех цветов и градусов. В гостинице «Дніпро» три бара — один над другим, самый верхний — любимое место киевских негров-студентов, но нас, грешных, туда не пускают — нужна валюта...

С приближением одиннадцати «ливерпули» и «мичиганы» постепенно пустеют, зато набиваются гастронемы — до закрытия осталось пятнадцать минут... После одиннадцати толпа на Крещатике редет, определенная часть ее переселяется во дворы и окрестные скверики. Дворы в Киеве особенные — там и зелень, и скамеечки, и столики (днем на них режутся в «козла»), и всякие дет-

ские площадки с качелями и какими-то горками для катания. Ну, а летом — трава... К сожалению, все эти дворы и столики известны милиции и дружинникам — дружеская беседа часто заканчивается в отделении милиции.

К часу ночи расходятся по домам с песнями под гитару или без гитары последние веселые компании, и Крещатик затихает до утра, до первых дворников.

Увы, все это было... Сейчас этого нет. «Ливерпуль», главное место встреч, разогнали, «Мичиган» обнесли забором, что-то строят, «Бульонная» сама по себе как-то выдохлась, в «Стекляшке», очевидно, проворовались бармены и коньяка, хоть и дорогого, но не продают... Остались дворы да подъезды, да редкие те случаи, когда кто-нибудь из холостяков пригласит к себе...

Усложнилась жизнь. Раньше часам к восьми-деяти в «Ливерпуле» всегда кого-нибудь найдешь, а сейчас только и осталось, что гастроном, у винного отдела или возле него — сидят на заборчике скверика, глазают по сторонам, авось кто из друзей появится. Выпить-то хочется. И мыслишками поделиться...

Мыслишками поделиться... Вот это-то самое сложное.

В «Ливерпуле», выпив рюмочку-другую, позволяли себе кое-какие вольности. Не ахти какие — поругать арабов, поиронизировать над вставной челюстью Брежнева, рассказать парочку анекдотов — дома же, за чайным столом... Поразительно, до чего все уверены, что каждое слово подслушивается. В большинстве, я бы сказал, даже в подавляющем большинстве, известных мне московских, киевских, ленинградских домов достаточно только заговорить о «политике», как на телефон наваливается подушка или втыкается каким-то особым образом карандаш. Идеализация технической оснащённости определенных органов поразительна. И никто почему-то не задается вопросом — сколько же миллионов, миллиардов магнитофонной ленты должно прокрутиться в одном, допустим, только Киеве, если все («ну, не все, но твой и мой, поверь мне...») телефоны подслушиваются, а магнитофоны (сколько их и сколько этажей они занимают!) не остывают.

В том, что у меня во всех углах подслушивающие аппараты, не сомневался никто. Даже я стал верить. Это резко сократило количество посетителей. Приходить стали только отчаянные смельчаки — считалось, что я слишком вольно себя веду (это у себя-то дома!). Мои попытки убедить друзей, что все самое страшное я уже выговорил в свое время в кафе и ресторанах, никого не убеждали («то — тогда, а это — теперь»). Те немногие «несмельчаки», которые отваживались иногда все-таки забежать ко мне, за чаем старались не проронить ни слова, а когда я в самых невинных выражениях касался, допустим, ближневосточных событий, делали круглые глаза и указывали куда-то вверх, в угол.

Думаю, что основное, чего удалось добиться советской власти за годы своего существования, — это страх, который она вселила в людей, и точная уверенность, что КГБ все знает и все может.

До сих пор не могу понять, почему самые страшные тридцать седьмые годы в моей жизни, в жизни моей семьи не вызвали никаких осложнений. Загадка...

Читая Н. Я. Мандельштам, видишь, как совсем по-иному жила в те годы московская и ленинградская интеллигенция. Вернее, мы жили по-иному. Те — не спали ночами, прислушиваясь к каждому шагу на лестнице, считали светящиеся окна в соседних домах («неделю уже не горит свет у таких-то — забрали...»), мы же о всех страшных событиях узнавали только из газет, и то о тех только, о которых писали. И не скажу, чтоб родители мои (не говорю о себе, для меня тогда существовал только театр) так уж скромно себя вели. Тетка — правдоискатель и человек бесстрашный — протестовала и писала в ЦК по поводу всяких арестов и увольнений, другая же тетка, жившая в Швейцарии, в письмах своих (а писала она регулярно, и все письма доходили) позволяла себе весьма неодобрительно отзываться о нашей системе, а когда бабушка сообщила ей о смерти А. В. Луначарского (моя семья с ним дружила в Париже), та ей лаконично ответила — «ну, что ж, одним бандитом меньше...». Думаю, этого было вполне достаточно.

Поразительно и другое — оторванность, в частности моя, от той жизни, которой жила в те годы Москва. В 1938 году мне было двадцать семь лет. Работал я во Владивостоке, в театре Красной Армии, и считался одним из самых интеллигентных, культурных, начитанных молодых актеров. Но если б мне тогда сказали, что где-то совсем рядом, в нескольких километрах от моего дома, моего театра во Владивостоке, пригороде Вторая речка (а сколько раз мы ездили туда с выездными спектаклями), умирает за колючей проволокой великий русский поэт Осип Мандельштам, я бы только вылупил глаза — «Кто, кто?». Пристало ли мне после этого удивляться, когда мой друг, военный инженер, живущий, правда, не в Москве, а в Вольске, неподалеку от Саратова, таким же «кто, кто?» отреагировал на какое-то мое высказывание о Синявском и Даниэле. Правда, в мои годы не было никаких Би-би-си и «Голосов Америки», что не очень, но все же как-то оправдывает меня.

С улыбкой вспоминаю я сейчас свое пламенное, всех взбудоражившее выступление в стенах Строительного института на какой-то из дискуссий (тогда они еще допускались). «Страх... вот главное, что нами сейчас руководит! — так начал я свою речь. — Страх перед дурной отметкой! Страх от одной мысли, что тебя лишат стипендии! Страх перед профессором, от которого зависит и то и другое! А он — страх — ведет к предательству и измене...» Ну и т. д. Поводом для этой пылкой речи двадцатилетнего студента (осужденной, кстати, потом секретарем ЦК товарищем Гансом — кто его помнит сейчас? — и фамилия моя попала в центральную газету — и я был в восторге, как чеховский герой) послужило решение высочайших органов, осуждающее конструктивизм в архитектуре, — событие, на многие годы повергшее нашу архитектуру в состояние растерянности и упадка.

Думал ли я тогда, задиристый забияка, что эта тема — страх (о, если б перед отметками и профессорами...) — станет главной в те невеселые дни, когда я расставался с Родиной, и явится одним из тех толчков, которые вынудили меня принять столь нелегкое решение.

Страх...

Самое грустное — это то, что я со всех сторон слышу: «Надо понимать... Поймите же, что ему... что ей, что им... что у них...» Стараюсь понять, но не понимаю.

Не понимаю, как человек, жена моего самого близкого, самого дорогого, ныне уже покойного друга, может после тридцати лет самых близких, самых дружеских отношений вдруг эти самые отношения пресечь навсегда. Так и было сказано: «Я с ним встречаться больше не буду. Конечно, если когда-нибудь ему что-нибудь от меня будет надо, он может...» Но он не смог. Черта была подведена слишком решительно.

Не понимаю, как можно отправить назад пришедшие на твой адрес лекарства с просьбой передать их моей жене, — мы были в отъезде. По телефону было сказано: «Ты сама должна понять... Я не могла иначе... И проститься с тобой я тоже не могу... Мне очень тяжело, но...» С этим человеком моя жена дружила даже не тридцать, а сорок лет. Можно сказать, самый близкий друг — совместная работа в театре, эвакуация, последние годы...

Не понимаю, когда оправдывают моего друга, с которым мы учились в одном институте, и ближайшего моего соседа (его окна видны из моих окон), бывшего вдруг ко мне дорогу (он попрощался со мной телеграфно), словами: «Пойми же, ради Бога, что ему надо объект сдавать... Зачем ему рисковать?» А друг этот в свое время любил прибегать по вечерам ко мне, усталый и раздраженный, — «Дай чайку... Хочется как-то всех послать к чертовой матери, дергают со всех сторон, сил нет...» И делился со мной всеми сложностями и перипетиями своей работы. Потом предпочел не делиться — там же, мол, все прослушивается. Может, он прав, объект-то сдавать не мне, а ему...

И еще один друг... И еще... И еще...

И стало пусто. И телефон умолк. И я перестал звонить. Старался понять. До сих пор стараюсь. Но не выходит.

* * *

Вечерний Крещатик натолкнул на мрачные размышления. Может, утренний или дневной немного успокоит нас? Вряд ли. В дневные часы он одержим. Магазиновая и лоточная вакханалия. Моя квартира в самом центре, и вся толчея перед моими глазами. Когда-то, до войны, Пассаж был тихой улочкой с художественными салонами, книжными магазинами. Сейчас это «Детский мир», где меньше всего детей и с избытком взрослых.

Что происходит со взрослыми, когда где-то «выбросили» кофточки, босоножки или апельсины, — говорить не приходится. С ужасом и великим сожалением думаю о тех, чьи окна выходят в этот самый «Детский мир». Наши, слава Богу, выходят в противоположную сторону, которая шумна только по утрам, когда разгружают ящики в тылах магазинов. И только по воскресеньям в Пассаже тишина. Магазины закрыты. Бродят голуби, да во дворе гастронома единственная на весь Пассаж очередь — сдают бутылки.

Бывает время, когда Крещатик меняет свое обычное лицо. Это — праздники и дни футбольных матчей. Население его тогда увеличивается в десятки раз. В дни футбола не рекомендуется заходить в гастроном — все равно ничего не добьешься, — а в дни праздников и салютов прекращается движение транспорта и улица во всю свою ширину и длину отдается во власть пешехода, если это спокойное слово можно применить к топчущейся на месте или протискивающейся куда-то толпе. Это не лучшее время для посещения Крещатика.

Мы с мамой выходим гулять обычно под вечер. Жара уже спала, но вечерней толкотни еще нет. Маршрут традиционный — до эспланады над Днепром или по Петровской аллее и назад. Идем себе под ручку, тихонько, не торопясь. У подземного перехода осаждают продавщицы цветов, они нас хорошо знают. «Возьмите ландыши бабусе, только из леса...» Мама любит ландыши, и весной у нас вся квартира в ландышах. И в распускающихся веточках тополя, каштана, клена. Потом сирень, жасмин, к концу лета гладиолусы, осенью георгины, астры... «Вы только побрызгайте их сверху, долго стоять будут...» Иногда наших баб нет, их разгоняет милиция. Зачем? Почему? Кому они мешают? Кто-то объяснил: «Безобразия! Замусоривают только Крещатик лепестками!» Действительно, безобразия, того и гляди утонет Крещатик в лепестках роз...

Так, здороваясь направо и налево — мы ведь тоже неотъемлемая часть предвечернего Крещатика, что-то вроде его достопримечательности, — доходим до громадного плаката на глухой стене дома: «Пиіте, друзі, вітаміни, натуральні свіжі соки, і рум'янцем неодмінно запылають ваші щоки». Мама каждый раз возмущается: «Зачем надо, чтоб у меня пылали щеки? Кто придумал, что это красиво?» А на площади Калинина на доме всю ночь вспыхивает и гаснет: «Хто морозиво вживає, той квітучий вигляд має». Мать тоже пожимает плечами: «Всю жизнь ем мороженое и никогда этого не замечала».

О, киевская реклама, мигающая, вспыхивающая, переливающаяся! Она далеко обогнала примитивные московские призывы «Аэрофлота» и сберкасс пользоваться их услугами и, пожалуй, даже Бродвей. У нас она в изысканной стихотворной форме.

«Якості найкращі сконцентровані саме в ньому, в цукрі рафінованім» (качества наилучшие сконцентрированы именно в нем, в сахаре рафинированном).

«Кришталі, скловироби, термоси виробництва Київського скляного заводу художнього хай будуть в квартирі у кожного» (хрусталь, стеклянные изделия, термосы производства киевского стеклозавода художественного пусть будут в квартире каждого).

«Піаніно, баяни, бандури не треба шукати довго. Адреса точна — в магазинах Київкультторга» (пианино, баяны, бандуры не надо искать долго, адрес точный — в магазинах Киевкультторга).

И так далее, в том же духе. Разве плохо?

Погуляв по вечернему Крещатику, ты не будешь больше мучиться в поисках бандуры, оставишь наконец квартиру хрусталем и термосами, а чай будешь пить только вприкуску.

Зацепившись за рекламу, никак не могу обойти вниманием еще один вид информации — так называемую наглядную агитацию. Ничуть не оспаривая ее полезность в принципе, приведу только один пример.

Прошу уважаемого читателя, не подглядывая вперед, ответить на вопрос: в какой газете, книге, журнале, парке культуры и отдыха, клубе или кинотеатре могло быть помещено нижеследующее: «К 1980 г. будет полностью удовлетворена потребность народного хозяйства и населения в перевозках путем согласования развития всех видов транспорта».

Где? Нет, не в газете, не в парке культуры и отдыха, не в клубе, а на почтовой марке! Все это размещено на крохотном кусочке бумаги размером 3х5 см и изданном Бог знает скольким миллионным тиражом. И такая марка не одна, а целая серия.

Ах, милая ты наша наглядная агитация. Как привыкли мы к тебе, бессмысленной и никем не читаемой, — ко всем этим «Партия и народ едины» и «Выполним решения XIV Пленума», ко всем этим потокам и колонкам цифр, диаграмм и молодым парочкам с развевающимися волосами и спутниками или атомами в протянутой руке, как уже даже не раздражаемся — просто глаз наш аккомодировался и сетчатка не воспринимает, не отпечатывает в мозгу определенный набор слов и изображений...

Но однажды сетчатка у меня не сработала, сдала. Дело было в Чернобыле, маленьком и очень симпатичном украинском городке на берегу Десны. Как-то вечером мы с друзьями гуляли по прибрежным лугам и добрали до старой лесопилки. Кругом — ни души. Две на длинных веревках козы щипали траву. Где-то далеко в лесу, за речкой куковала кукушка. Заходило солнце. Тоненький месяц над лесом. Тишина и покой. И только легкий ветерок трепал выцветший, ставший из красного розовым, лозунг над воротами лесопилки: «Да здравствует традиционная дружба народов Советского Союза и Непала». Интересно, есть ли в Чернобыле хоть один человек, который мог бы пальцем указать на карте, где этот Непал находится.

* * *

Лучшее время прогулки по Крещатику — это, конечно, раннее-раннее утро. Летом, часиков этак в пять-шесть. Редкие, непонятно откуда и куда идущие — то ли с дежурства, то ли с затаившихся именин — прохожие, первые дворники, волочащие по тротуару кишки для поливки улиц. Троллейбусов еще нет. Вихрем проносятся одиночные, плюющие в этот час на светофоры машины. На магазинах, с обязательными любезными «Добро пожаловать» (по-украински «Ласкаво просимо»), висят еще замки на каких-то железных коробках с всунутыми в них картонками... Идешь по такому Крещатику, еще прохладному, с длинными тенями, и замечаешь то, мимо чего проходишь, когда он тороплив и многолюден. Именно в это утро ты обратишь внимание на то, как выросли довоенные деревья, как хорош виноград на балконах, переползающий по сте-

нам с одного на другой, как мощно разросся плющ на лестнице, ведущей к павильону «Чай-кофе» (расти, расти, плющ, разрастайся по всем фасадам Крещатика — ты сделаешь большое дело!), как не нужны, безобразны и не вяжутся со старым Пассажем скульптуры у его входа и еще парочка возле лестницы к кинотеатру «Дружба». Для чего они, эти унылые мужчины и женщины с какими-то чертежами, планами и снопами в руках? Ох, как повезло бы Крещатику, если бы скульптуры могли оживать — взяли бы они свои чертежи под мышки и ушли куда-нибудь подальше...

Да, именно в это тихое, безлюдное утро ты все увидишь и заметишь. Остановишься посреди пустынного тротуара и начнешь рассматривать фасады. Ты никогда не занимался этим? Тогда — советую!

В Киеве есть дом, который знают все, даже некиевляне. «Слыхали, что у вас в Киеве есть такой дом, — говорят они, — на котором много...» Да, есть, отвечаем мы, дом Городецкого, дом с русалками.

В. Городецкий, в свое время известный в Киеве архитектор, отнюдь не был новатором. Он подражал Древней Греции (в Музее украинского искусства, «со львами», как его называют киевляне), готике (в новом костеле), чему-то восточному (в караимской кенасе на Большой Подвальной, сейчас там кино «Заря»). Сделано все умело, добротное, со знанием дела, но в общем-то копии чего-то. Но вот в жилом доме на Банковой (ныне Орджоникидзе) Городецкий нашел самого себя. В этом доме он приближается, не на очень, правда, близкое расстояние, к вдохновенному певцу архитектуры модерна — Антони Гауди, автору знаменитого собора Ла Саграда Фамилия (Святое Семейство) в Барселоне. Неудержимая фантазия, стремление и умение из камня и цемента вить веревки, лианы, сети, уничтожать камень как таковой, превращать его в цветы, растения, животных — одним словом, создавать архитектуру, уничтожая ее устоявшиеся принципы, вот что сблизает этих двух архитекторов — русского и испанского. «Дом Городецкого» — это, конечно, не просто дом, это сказка, приключенческий рассказ, детская иллюстрированная книжка... Там вырастают из стен слоны, носороги, антилопы, и громадные жабы на крыше, и наяды верхом на усатых дельфинах, и в каннелюрах колонн извиваются маленькие ящерицы и змеи, а на решетке дома дикий барс (или что-то ему сродни) сражается с могучим орлом...

И вот стоят перед этим домом туристы, приезжие со всех концов страны, и рассматривают, удивляются, поражаются, хвалят, осуждают, иронизируют и, конечно, фотографируют со всех сторон. Одним словом, при всей своей антиархитектурности дом этот...

Но стоп! Я сказал «антиархитектурность» — и тут же беру свои слова обратно. Нет, дом Городецкого вовсе не антиархитектурен, в нем просто ярче, доходя до какой-то крайности, развито то, что заложено в архитектуре многих жилых домов первых лет двадцатого века. Более того, я бы сказал даже, что дом этот на фоне остального — пример скорее положительный, чем отрицательный.

Конец XIX, начало XX века — не лучшее время в истории архитектуры. Декаданс, модерн, Сандуновские бани, елисеевские магазины, особняки Рябушинского, Кшесинской, Grand Palais в Париже. Но кроме особняков, где полет фантазии не ограничивался богатыми заказчиками, начало века было отмечено неудержимым ростом городов, строительством так называемых доходных домов и того, что за границей называется офисами, — банков, контор, страховых обществ и т. д. И вот этим-то домам было тогда нелегко, а архитекторам и по-давно.

Земельная рента в начале века (особенно на центральных улицах) росла чуть ли не в геометрической прогрессии. В Киеве в девяностых годах усадьба Меринга (в самом центре города, там, где театр И. Франка, бывший Соловцова), размером в десять десятин, продана была за триста тысяч рублей. Несколько лет спустя усадьба Штифнера (нынешний «мой» Пассаж) площадью в один гектар была приобретена страховым обществом «Россия» за полтора миллиона рублей.

Теснота участков приводила к тому, что дома на улицах-коридорах стояли плечом к плечу и оставляли в распоряжении архитектора одну только фасадную стену, остальное — либо глухие брандмауэры, либо никому не видные задние стены, выходящие окнами и балконами во дворы-колодцы.

Так расцветало фасадничество.

Правда, и ренессанс, и барокко, а до этого и готика тоже хорошо знали, что такое фасад. На него стонялось все — и колонны, и пилястры, и сандрики, и карнизы. Но стиль в то время создавали в основном не жилые дома, а уникальные сооружения — дворцы, замки, соборы; в двадцатом же веке — именно жилые дома и офисы.

И вот бедный архитектор, лишенный объема и пространства, весь свой талант и знания вкладывает в эту самую единственную выходящую на улицу стену. Задача не из легких, с которой могли справиться только крупные мастера. И нужно сказать, что в России таким архитекторам, как Щусев, Шуко, Фомин, Жолтовский, Таманян, Бенуа, удалось создать здания, безусловно украшающие город. Пример тому — Каменноостровский (ныне Кировский) проспект в Ленинграде, одна из красивейших улиц города.

Киев, увы, похвастаться таким проспектом не может. Четыре здания на Крещатике (Зецкера и Торова, Бенуа, Андреева и Лидваля) плюс Пассаж, непосредственно на Крещатик не выходящий, ну, еще от силы десятков-другой домов — и все. Остальное малоинтересно. Пяти-шести-этажные из желтого киевского кирпича, в большинстве неоштукатуренные здания с достаточно безвкусной лепниной и обязательно куполами — вот типичная архитектура Киева, его лицо. Ну, еще обязательный «стиль рюсс» — пузатые колонки, теремочки, кокошнички.

Спасают эту безвкусицу рельеф города и буйная зелень, скрывающая фасады. Одно в этих домах хорошо — балконы, широкие, просторные, со специфической киевской «пузатой» решеткой из каких-то листьев и ветвей. На таком

именно балконе я и начал свои прогулки — дом № 4 на Владимирской — типичный киевский дом.

Двадцать пять лет я прожил в Пассаже. О нем стоит поговорить особо, так как огромный дом этот — один из наиболее ярких образчиков нележкой, я бы даже сказал трагической, судьбы «фасаднической архитектуры».

Пассаж — это, так сказать, внутриквартальная, совсем не широкая улица с большими магазинами на первом этаже и бесчисленным количеством квартир на остальных четырех. Думаю, что население Пассажа (вся эта улица — один дом № 15) не уступает по количеству жителей любому современному районному центру или дореволюционному уездному городу. Строил его архитектор П. Андреев. Осуществить до конца свой проект ему не удалось (строительству крещатицкой части помешала мировая война), но и то, что сделано, свидетельствует о большом мастерстве автора. Да, о мастерстве и в то же время, повторяю, о трагичности его мастерства.

Даю голову на отсечение, что ни один из многих тысяч жильцов этого дома не знает, что же изображено на его фасадах. Более того, смею утверждать, этого не знает ни один киевлянин, даже ни один житель земного шара, кроме разве что авторов проекта (если они еще живы) и... меня. Сужу по тому, что, прожив в Пассаже двадцать пять лет, я только сейчас обнаружил на его фасаде, вернее фасадах, массу интереснейших вещей. Обнаружил, например, кроме мужских и женских голов, молодых и пожилых, несметное количество гербов, гирлянд, поддерживаемых летящими гениями, ангелочков, орлов, бычьих черепов, ночных сов с распростертыми крыльями, факелов, жезлов Меркурия, бараньих голов с подвешенными к рогам ананасами и множество барельефов — детей, играющих со львом и львицей, обнаженных мужчин и женщин, из которых я точно узнал одного только Нептуна по трезубцу в руках, какие-то обнимающиеся пары... И все это я, киевлянин, человек, любящий разглядывать фасады, открыл для себя совсем недавно, начав писать эти заметки.

И тут-то и возникает вопрос: не зря ли потратил всеми уважаемый архитектор время на прорисовку всех этих ангелочков, сов, орлов, и прочей живности? Ведь никто этого не видит, не замечает. Я вот совсем недавно только обнаружил, что женская голова в замочном камне над моим парадным отличается от других таких голов тем, что она прикрыта тигровой шкурой. А сколько раз я входил в эту дверь? Тысячу, две, пять, десять тысяч раз? Непостижимо! И обидно. Столько труда потрачено. Неужели напрасно?³

В студенческие годы мы много говорили и спорили о синтезе искусств. Примерами положительными считали афинский Акрополь, капеллу Микеланджело во Флоренции, где архитектура и скульптура настолько спаялись, слились, что просто не могут существовать друг без друга. Синтез архитектуры с

³ Уже после обнаружения тигровой шкуры я хвастался знанием фасадов собственного дома перед другом скульптором. И, к великому моему удивлению, разобрал вдруг, что детишки на барельефах вовсе не играют со львом и львицей, они просто-напросто... спаивают их. Да, спаивают! Одни раскрывают ему пасть и подносят чашу с вином, наливая его из амфоры. Другие же малыши с гроздьями винограда в руках готовят вино. А двое даже дегустируют его. Вот о каких интересных вещах рассказал нам Андреев... — *Прим. авт.*

живописью признавался, правда с оговорками, в домах Помпеи, а в более поздний период в архитектуре Мексики — Диего Ривера, Сикейрос и другие. Нарушителями, врагами синтеза считались Сикстинская капелла того же Микеланджело (живопись разрушает архитектурную форму) и, конечно же, барокко, где для нас, юных конструктивистов, ревнителей чистых объемов и плоскостей, всего было слишком много.

С годами вкусы несколько изменились — стало ясно, что конструктивизм отнюдь не панацея от всех бед (это понял раньше всех нас великий Корбюзье), а барокко далеко не самый плохой период в истории искусств. Стиль (если можно говорить о нем как о чем-то имеющем начало и конец) рождается в определенную эпоху и не на ровном месте. Он отвечает требованиям своего времени, своих заказчиков (от императоров прошлого до государственных мужей последних десятилетий) и в то же время является отображением состояния умов и вкусов.

Но я не собираюсь читать сжатый курс истории архитектуры, я просто пытаюсь уяснить себе (а потому и залез в дебри), что и положительного, и отрицательного дала человечеству архитектура начала века, а заодно разобраться в том, что можно считать ее трагедией.

Если, вспоминая прошлое, мы заговорили о синтезе архитектуры, скульптуры и живописи, то на примере андреевского Пассажа и его собратьев мы видим весьма любопытное явление — вмешательство в архитектуру книжной графики и, в свою очередь, архитектуры в книжную графику.

Сравните, например, фасады первого десятилетия XX века с графическими работами «мирискусников» — Бенуа, Бакста, Сомова, Добужинского — с обложками «Аполлона», «Золотого руна», «Столицы и усадьбы», и вы увидите много общего. Те же маски, купидоны, гирлянды, бараньи головы. Виньетки на стенах домов, колонны и архитектурные детали на книжных страницах.

И это вполне закономерно. И у архитектора, и у графика перед глазами плоскость, прямоугольник — у первого стена, у второго лист. И плоскость эту нужно заполнить. И, заполняя ее, архитектор и график протянули друг другу руки, как позже, в двадцатые годы, сделали это архитектор и инженер. Но если во втором случае архитектура открыла нечто новое и дала миру таких мастеров, как Ле Корбюзье, Гроппиус, Райт, Леонидов, Мельников, братья Веснины (список этот можно продолжить), то в первом случае дело обстоит несколько сложнее.

Книгу, взяв ее в руки, ты рассматриваешь, а мимо дома проходишь, не очень-то обращая на него внимание, если это не памятник архитектуры и о нем не написано в путеводителях и книгах об искусстве.

Такие крупные мастера, как Шуко, Лидваль, Рерберг, тот же Андреев (Шусев несколько в стороне, у него были свои поиски — от церкви и Казанского вокзала до Мавзолея Ленина), оформляли свои фасады с большим вкусом и знанием дела, но мы, прохожие, не успеваем, не умеем это оценить. И виноваты в этом не архитекторы, а мы. И именно потому предпочтительно гулять по го-

роду ранним утром, когда магазины и учреждения еще закрыты, а тебе некуда торопиться.

Дома нужно рассматривать, как книжки. И тогда тебе многое откроется. Хотя бы то, что Пассаж при симметричности своих фасадов несимметричен в своем построении — у него есть излом, создающий некую очень нужную в искусстве неправильность (тонкость, придающая такое совершенство Акрополю), тогда ты испытаешь то наслаждение, которое хотел доставить тебе архитектор. И тогда ты поймешь, что труд его был не напрасен, — воздвигнутое им (даже если не все детали до тебя дошли) создает в целом определенный архитектурный образ, настроение, то есть то, без чего архитектура существовать не может.

И тут я возвращаюсь к Городецкому, к его дому. Пусть в нем, в этом доме, слишком много носорогов и наяд, но он сделан рукою художника. И художника, не побоявшегося выбрать сложнейший рельеф — крутой обрыв. Это дало ему возможность вырваться из строчечной застройки, а значит, и избавиться от фасада — дом одинаково интересен со всех сторон. И, пожалуй, именно это дает нам право отнести его к примерам скорее положительным, чем отрицательным, того стиля, которому трудно дать название — модерн, неоклассицизм, декаданс, стиля, который не принято считать стилем, а принято осуждать, увы, не всегда с основанием.

...7 июня 1926 года на одной из центральных улиц Барселоны из-под трамвая было вытянуто тело неизвестного бродяги. Через несколько дней бродяге этому были устроены торжественные похороны, на которые стеклась чуть не половина города. Безвестным бродягой оказался 74-летний Антонио Гауди, архитектор, которому Барселона, а вместе с ней и все человечество обязано одной из интереснейших страниц истории архитектуры. Строил он только в Барселоне, больше нигде, у нас России почти неизвестен, если не считать знатоков, так же неизвестен, как и «почтальон Шеваль» (во Франции знаменитый примитивист Руссо именуется не иначе как «таможенник Руссо»), тем не менее имена обоих упоминаются во всех энциклопедиях, о них пишут монографии, а творения их изучаются всеми, кого интересуют судьбы архитектуры.

Оба они считаются представителями модерна. Но считают это главным образом специалисты, которым нужно втиснуть творчество того или иного художника в рамки определенного течения, стиля. Нет, ни тот, ни другой не втискиваются в эти рамки. Они не модернисты, они «кошки, которые гуляют сами по себе». Подобно Гоголю, который считал, что современную ему унылую архитектуру надо убить городом, в котором сочетались бы стили всего мира и всех веков, «почтальон Шеваль» построил свою собственную усыпальницу (!), используя в ней все лучшее, что дали миру безвестные архитекторы Индии, Бирмы, Тибета, Японии, Китая, Рима. Гауди, напротив, избегал стилей и модерна, оперировавшего своими штампами, в том числе.

Венец его творчества — собор Ла Саграда Фамилия. Строить его он начал еще тридцатилетним молодым человеком и так и не закончил, дожив до семидесяти четырех лет. За сорок три года строительства (1883—1926) ему удалось

осуществить только грандиозный по размерам фасад — портал и четыре башни. Человеку, не выдавшему его в натуре, трудно, конечно, судить о впечатлении, которое производит собор (вернее, его лицо), но, даже рассматривая фотографии, видишь, что перед тобою нечто незаурядное. Взмывающие ввысь веретенообразные стометровые башни, вырастающие из портала, поражают не только своим силуэтом, они сотканы из бесконечного количества деталей, которые уловить и оценить можно, очевидно, только вооружившись биноклем и временем. Фантазия автора не знает предела. Он оперирует любыми формами — готики, романских донжонов, дворца Снежной королевы, песочных замков, вылепленных детьми на пляже, затейливостью растений и придуманных самим автором форм. Он использует цвет, майолику, скульптуру, даже надписи, игнорируя только одно — прямую линию, прямой угол и плоскость. Эти последние Гауди считал началом человеческого, кривую же — божественным, что, правда, не мешало ему и в жилых домах избегать «человеческих» прямых.

В Гауди мирно уживались (а может, и не мирно) самые противоположные начала. Художник и инженер, мистик и калькулятор. Его любили и чему-то учились у него Корбюзье и Сальвадор Дали. А он своим учителем считал природу. «Дерево — наш учитель, — говорил он: — «Парабола не придуманная, вычисленная кривая, это растопыренные пальцы». Его эмблемой были роза и дракон — эмблема святого Георгия, покровителя Каталонии, — прекраснейший из цветов и чудовищное порождение фантазии.

Любимое изречение Гауди: «Архитектура не должна придерживаться своего времени». И еще одно: «Трамваи должны останавливаться, а не пешеходы»... Увы, этого изречения не знал водитель трамвая, который переехал его.

В наш век стандартов и рационализма ни Гауди, ни «почтальон Шеваль» (он действительно был почтальоном, как и Руссо — таможенным чиновником) не вписываются. Их архитектура не дружит с современной. Что ж, тем хуже для современной архитектуры, добавим мы, в чем-то разделяя точку зрения Гоголя.

Талант даже в сложные времена выходит победителем.

Ну а Городецкий?

Только сейчас, и то совершенно случайно (поднес старушке тяжелую корзину, она мне и поведала), узнал я, что автором самого любимого моего дома был тоже Городецкий. Это «Замок Ричарда Львиное Сердце», как прозвали мы его еще в детстве, воюя на его лестницах и мостиках, — чудесный, загадочный, ни на что не похожий дом на Андреевском спуске, круто петляющем от Андреевской церкви вниз, на Подол. Городецкий, очевидно, любил замки (я вспомнил его, гуляя сейчас по созданной для дуэлей, погонь и Фанфан-Тюльпанов крыше замка...), и в нашем «Ричарде» это особенно чувствуется — даже сейчас, попав в его дворы и дворики, хочется скрестить с кем-нибудь шпаги...

Имя Городецкого не упоминается ни в одной энциклопедии, о нем не пишутся монографии, и над «домом с русалками» кое-кто посмеивается, а другие просто от него отворачиваются — стоит ли о нем говорить, — но не зря все-таки приходят к этому дому люди, разглядывают его, фотографируют... А новые

«башни» на Русановке или в Химки-Ховрине, при всей их разумности и рациональности, что-то совсем не хочется фотографировать.

Киевляне рассказывают легенду о дочери Городецкого, которая утонула где-то в озере Чад или Виктория-Ниянца, и в память о ней, мол, построен дом с русалками и носорогами. А где-то я читал, что, напротив, никакая там не фантазия, просто архитектору заказала этот дом какая-то фирма по производству цемента — проверить в самых сложных лепных формах качество цемента. Бог его знает, что было на самом деле, важно другое — перед нами произведение художника, у которого было свое лицо, не банальное, не стереотипное, а свое собственное. Без этого не может существовать искусство, будь это храм Василия Блаженного, капелла Роншан или хотя бы «Замок Ричарда Львиное Сердце».

* * *

«Замок Ричарда Львиное Сердце» — № 15 по Андреевскому спуску, а ниже его под горой — № 13, «дом Турбиных», в котором жил и автор пьесы, М. А. Булгаков. Теперь он стал вроде одной из достопримечательностей Киева. Почитатели Булгакова, из разных городов, сразу находят его — большое черное «13» на ярко-белом квадрате видно издали. Многие заходят во дворик, фотографируют, наиболее отважные рискуют познакомиться и с Инной Васильевной, дочерью Василисы...

Весь последующий раздел интересен только тем, кто любит Булгакова «Белой гвардии», кто выстаивал длиннющие очереди в Камергерском, чтоб попасть на «Дни Турбиных», кто замирал, переживая вместе с героями пьесы все перипетии этой такой милой, такой дружной семьи.

О своих поисках, о доме, в котором жили придуманные и не придуманные Булгаковым герои романа и пьесы, я как-то написал в «Новом мире», и для тех, кто прочитал этот маленький очерк, и написаны нижеследующие строки.

Скажу прямо — писать о живых людях или их прототипах — дело неблагодарное, а возможно, даже не всегда нужное.

Надежда Афанасьевна Булгакова, сестра писателя, в одном из писем писала:

«Несколько человек, знающих нашу семью, осуждают Вас за неточность информации. Говорят, что Вы, мол, от Инны Васильевны узнали, что есть в Москве родные писателя, надо было бы обратиться к ним. Но представьте, я так не думаю. Болезнь помешала мне вмешаться в это дело до напечатания очерка, значит, судьба: пусть будет так, как получилось».

Несмотря на столь мягкое и деликатное замечание Надежды Афанасьевны, позволю себе истины ради кое-что с ее слов все же уточнить и дополнить.

«Не знаю, — пишет она, — стоит ли утруждать Ваше внимание исправлением ошибок, но кое-что скажу.

Варя, самая веселая (это верно), четвертая в семье, на гитаре не играла, она кончила Киевскую консерваторию по классу рояля, была пианисткой. Вера,

старшая из сестер, вторая после Михаила, пела, училась пению; замужем за офицером никогда не была; ее муж никогда не был выслан. Мой муж был филолог, русский. Ни у кого из сестер Булгаковых мужей немцев не было.

Варя — прототип Елены Турбиной, Миша прекрасно, тонко уловил черты ее характера, ее облика, рисуя Елену Турбину. Но Вы же сами написали о героях Булгаковых: «...может, и выдуманных наполовину, на четверть выдуманных... И муж Елены — Тальберг — тоже выдуман на сколько-то».

По этому поводу пишет и племянница Надежды Афанасьевны, дочь ныне покойной Варвары Афанасьевны (Елены Турбиной):

«Моя мать действительно вышла замуж за офицера (моего отца); фамилия у него немецкого происхождения — Карум, но он был русским. Мать его уроженка Бобруйской губернии — Миотийская Мария Федоровна. Самое интересное, что отец мой жив. В период культа личности он был репрессирован, сослан в Мариинск, затем переехал в Новосибирск. В настоящее время он, конечно, полностью реабилитирован, пенсионер, свой трудовой путь закончил в должности заведующего кафедрой иностранных языков Новосибирского государственного медицинского института. Сейчас ему семьдесят восемь лет, но он много работает над иностранной литературой, живо интересуется новинками в литературе, музыке, искусстве.

Моя мать в ссылке никогда не была, мы приехали в Новосибирск, когда отец был освобожден. В последние годы своей жизни она работала в Новосибирском педагогическом институте старшим преподавателем кафедры иностранных языков».

Оба письма, отрывки из которых я привел, — Надежды Афанасьевны и И. Л. Карум, ее племянницы, — дополнений и разъяснений, само собой разумеется, не требуют. Как никто другой понимаю, как досадно обеим было читать все эти «неточности», касающиеся близких и дорогих им людей (я тоже огорчился бы). Но я, оправдываясь, хочу сказать, что свое посещение дома №13 рассматривал скорее как некую живую сценку, вплетшуюся в историю «дома Турбиных», а не как исследовательскую работу по биографии М. А. Булгакова. Я не исследователь и не биограф — просто мне дорого все, что связано с именем писателя, и каждое слово, каждый, пусть далекий, детский отрывок чьих-то воспоминаний о нем, о вымышленных или невымышленных его героях мне интересен. Да думаю, не только мне.

Вот несколько из этих дошедших до меня отрывков.

Алексей Турбин...

Одна из читательниц пишет:

«Моя мать в 1918 году жила в Киеве (кстати, на Андреевском спуске в доме кн. Урусова, который Вы называете «Замком Ричарда») и была близко знакома с артиллерийским офицером (в чине полковника) Алексеем Петровичем Турбиным.

Еще в 1933 году, посмотрев пьесу Булгакова, она считала, что Алексей Турбин очень похож на того человека, которого она знала, и хотела узнать у Булга-

кова, действительно ли Булгаков «списал» его с живого человека. Но, с одной стороны, она стеснялась написать, с другой — даже боялась... Вы пишете, что полюбили этих людей, полюбили «за честность, благородство, смелость, за трагичность положения». По рассказам матери, Ал. Петр. Турбин был именно таким — благородным, очень интеллигентным, но — увы! — белым офицером. Теперь, после Вашей статьи (очерк? новелла?), я уверена, что Алексей Турбин и есть тот самый человек, конечно, не в абсолютно «чистом» виде, как и всякий литературный прототип.

Последний раз моя мать видела его в Севастополе перед бегством белой армии за границу».

Это — о самом Турбине. А вот догадка одного из читателей по поводу «происхождения» этой фамилии. Булгаков — Турбин. По Ушакову, булгачить значит «беспокоить, будоражить», по Далю, турбовать — тоже «беспокоить, тревожить», — по-моему, любопытная, о чем-то говорящая «раскопка».

Шервинский...

Письмо от читательницы из Горьковской области:

«Было это так. Лет десять тому назад я ехала из Москвы домой. В купе со мной оказалась только одна пассажирка — немолодая, некрасивая женщина, разговор с которой не сулил ничего интересного. К счастью, я ошиблась. Попутчица оказалась завзятой театралкой, и мы с увлечением проговорили всю летнюю ночь.

Конечно же, вспомнили «Дни Турбиных». И хотя обе мы видели их в тридцатых годах, впечатление было настолько великое, что спектакль запомнился во всех деталях.

Вот тут-то моя собеседница мне и сказала: «А знаете, я ведь киевлянка и в 1918 году жила в Киеве. Я немного знаю человека, которого Булгаков вывел под фамилией Шервинского».

Передаю то, что запомнила из ее рассказа.

«...1918 год. Ранняя осень. Я в гостях в одной скромной семье, состоящей из матери-старушки и двух дочерей-девушек. Бедная квартира, тусклый свет, неинтересный, вялый разговор. И вдруг ворвался солнечный вихрь — в комнату влетел молодой офицер — родственник старушки. Высокий, стройный, с великолепной русой шевелюрой. От его белозубой улыбки, прекрасного голоса, смеха, шуток сразу все ожило. Я сидела в уголке и следила и слушала, как он говорил, смеялся, ухаживал за девушками, целовал руки старушке, пел, играл на скрипке...

Когда я смотрела спектакль — выход Шервинского поразил меня — да ведь это же Евгений! Актер дал очень верный образ, будто знал его.

Уходя из гостей, я спросила у старушки, кто этот офицер, старушка ответила, что это ее родственник, что он служит адъютантом у одного высокопоставленного лица, чуть ли не у «самого».

В последний раз я видела его в элегантной коляске, запряженной парой вороных. Он сидел на переднем сиденье — откидной скамеечке — и что-то оживленно говорил каким-то важным особам, сидевшим в экипаже.

Потом в городе произошла смена власти, и он исчез.

После мне рассказывали, что он обосновался в Москве. Одаренный человек, он увлекался электротехникой, сделал ряд изобретений в области гальванопластики, много и плодотворно работал, а теперь доживает свой век, окруженный почетом и уважением.

Он был женат. Жену он обожал и рыцарски служил ей. На меня как на женщину произвел большое впечатление такой факт: 30-е годы, карточки, с промтоварами трудно, предметов роскоши совсем нет. А он, чтобы доставить удовольствие своей жене, обшаривает всю Москву и достает флакон духов «Коти». Жена их любит...»

Вот и все, что я запомнила из рассказа моей попутчицы. Помнится, мы тогда еще потолковали, не на «Елене» ли он женился, но у моей собеседницы никаких определенных данных не было».

Так ли это? Не знаю. И не проверяю. Зачем проверять? Пусть это останется «тайной» неизвестного адъютанта Шервинского и не более известного Евгения...

А вот строчки из письма, ничего нам не открывающего, но настолько трогательного, что не могу их не привести:

«...«Дом Турбиных» возвратил меня к событиям сорокалетней давности, о которых хочу рассказать Вам.

Лет мне было в те поры пять-шесть, но кое-что запомнилось отчетливо, совершенно фотографически.

Так вот, у моей матери была приятельница, звали ее Леля. Внешность ее совершенно изгладилась из памяти. Кроме синего костюма (как Василисин зять запомнил только форму булгаковских зубов). Меня в те времена могли интересовать зубы разве что серого волка. Помню, как-то раз мама, тетя Леля и я шли по Тверской (в Москве). Остановились у круглой афишной тумбы — были когда-то такие в Москве, летом в них ночевали беспризорники. Мама и тетя Леля разглядывали афиши и вели какие-то свои, взрослые разговоры, мне неинтересные. Вдруг мать сказала, обращаясь к тете Леле: «Миша Булгаков!» Сказано это было таким радостным, таким особенным тоном, что я невольно спросила, кто это — Миша Булгаков? «Миша Булгаков — брат тети Лели».

И обе они, мама и тетя Леля, как-то очень тепло и радостно улыбаясь, стали говорить о Мише — Лелином брате.

Я уже умела читать и прочла на афише какого-то спектакля (тогда мне было совсем безразлично, какого именно) «М. Булгаков».

Безусловно, у М. А. Булгакова и его родственников было (и есть сейчас) великое множество знакомых, друзей, приятелей, могущих рассказать о семье Булгакова много интересного.

Читать, как я уже сказала, умела. Прочла разные сказки — Андерсена, братьев Гримм и т. д., что обычно читают детишки. Но всех этих авторов уже на свете-то не было. И вообще, никому ничего не было известно, скажем, о братьях Гримм, чьи они, собственно, братья? А вот о Мише Булгакове все было известно доподлинно — он был брат тети Лели. И жил в Москве. И его имя было на афише. Правда, пьесы, которые он писал, были для взрослых. А коль мама и тетя Леля так этому обрадовались, значит, Миша Булгаков хороший писатель. Иначе чему бы радоваться?

Так вошло в мое сознание: Булгаков — писатель, радующий людей.

Что было с Лелей Булгаковой дальше — не знаю. Мать моя тяжело заболела и вскоре умерла. Приятельницы ее у нас уже не бывали».

Николай Турбин... Любимый мой Николка — Кудрявцев...

Почему-то мне казалось, что прототипом его должен быть самый младший брат Михаила Афанасьевича — Иван. Один — в Киеве на гитаре, другой — в Париже на балалайке... Потом подумал: а не Николай ли, второй брат Михаила?

Иоанн Сан-Францисский (в миру Шаховской) в предисловии к заграничному изданию «Белой гвардии», так и озаглавленном: «Судьба Николки Турбина», не сомневается, что Николка — это Николай Булгаков. Ссылается при этом на свидетельство одного священнослужителя, который сидел с Николаем Афанасьевичем в одном лагере во Франции во время немецкой оккупации.

Что же о них известно — о Николае и Иване?

Оба они после Гражданской войны оказались в Югославии, затем во Франции. Николай Афанасьевич, получивший высшее образование в Загребе, работал в Париже ассистентом профессора д'Эффеля, всемирно известного ученого, открывшего в свое время бактериофаг. После смерти своего шефа возглавил институт его имени. За труды свои удостоен серебряной медали. В годы оккупации попал в немецкий концлагерь. Многие заключенные обязаны ему своей жизнью. Вдова М. Булгакова Елена Сергеевна показывала мне трогательный благодарственный адрес, по-детски украшенный виньетками, который преподнесли Николаю Булгакову бывшие заключенные после освобождения. Среди них и был, кстати сказать, тот самый священнослужитель, о котором упоминал Иоанн Сан-Францисский. Летом 1966 года (а не зимой) Николай Афанасьевич умер — простудился, схватил воспаление легких и не перенес его. Похоронен он на русском кладбище в Париже.

Судьба Ивана Булгакова сложилась иначе. Чуткий, чистый, очень ранимый, он бесконечно тосковал по России. Люди, знавшие его, находили в нем что-то от Феди Протасова... Последнее время о нем ничего не было известно. Елена Сергеевна, ездившая в Париж, привезла только маленькую фотокарточ-

ку, где он снят в группе хора балалаечников одного из русских ресторанов в Париже. Он стоит вторым слева, моложавый, несмотря на свой возраст (1901 года рождения), невысокий, крепко сколоченный блондин в шелковой косоворотке, шароварах, сапогах...

Разглядывая эту фотографию, я невольно подумал: а не встречался ли я с ним в Париже в 1962 году? В той же группе вторым справа снят молодой человек, лицо которого мне показалось знакомым. Не Марк ли это Лутчек из ресторана «У водки», с которым мне так и не удалось вторично встретиться? Я спросил Елену Сергеевну, не знает ли она, кто это такой, и не цыган ли он. Да, цыган, но имени его она не знает...

Вернувшись в Киев, я ринулся на поиски. Написал в Париж своей знакомой, русской по происхождению, и попросил ее, если не трудно, сходить в тот самый ресторан на бульваре Сен-Мишель и, если там еще работает Марк, разузнать у него об Иване Афанасьевиче, которого, если и не работает с ним вместе, он, наверное, знает.

Вскоре получаю ответ, и — о, чудо! — оказывается, моя знакомая прекрасно знает Марка и всю его семью. Знала его еще совсем мальчиком. Сейчас он женился на русской и вместе со своим ансамблем гастролирует в Ливане, в Бейруте, в казино «Бейрут». Туда и пишите!

Я написал. Через сколько-то времени — письмо от Марка. Не из Бейрута, а уже из Парижа. Очень милое письмо. Извиняется, что сразу не ответил («С русским у меня неладно, сейчас помогает жена»), и сообщает, что через друзей узнал нынешний адрес Ивана Афанасьевича, который и прилагает. Значит, жив! Забавная мелочь. Я сравнил фотографию балалаечников, где вторым справа стоит Марк, с присланной мне самим Марком («Представляю тебе мою жену Ольгу. Снято в день свадьбы») и... Что за чорт! Совсем разные люди! Второй справа — вовсе не Марк! Перепутал!

Но не все ли равно? Важно, что и Марк, а через него и Иван обнаружились.

И вот в который раз убедился я, как важно писателю записывать адреса. И только для этого — уверяю вас! — только для этого придумана пресловутая «записная книжка писателя». Только для адресов. А мысли придут потом. А если не придут, то, значит, и не заслуживали быть записанными.

* * *

И вот мы стоим перед этим самым домом № 13 по Андреевскому спуску. Ничем не примечательный двухэтажный дом. С балконом, забором, двориком, «тем самым», с щелью между двумя домами, в которую Николай Турбин прятал свои сокровища. Было и дерево, большое, ветвистое, зачем-то его спилили, кому-то оно мешало, затемняло. Мемориальной доски нет. Впрочем, на доме, где жили Л. Н. Толстой и К. Г. Паустовский, тоже нет.

Андреевский спуск — лучшая улица Киева. На мой взгляд. Крутая, извилистая, булыжная. Новых домов нет. Один только. А так — одно-двухэтажные.

Этот район города, говорят, не будут трогать. Так он и останется со своими заросшими оврагами, садами, буераками, с теряющимися в них деревянными лестницами, с прилепившимися к откосам оврагов домиками, голубятнями, верандами, с вьющимися граммофончиками, именуемыми здесь «кручеными панычами», с развешанными простынями и одеялами, с собаками, с петухами. Над бывшими лавчонками, превратившимися теперь в нормальные «коммуналки», кое-где из-под облупившейся краски выглядывают еще старые надписи. Это Гончарные, Кожемяцкие, Дегтярные, когда-то район ремесленников...

Это и есть Киев прошлого, увы, минуемый альбомами, открытками, маршрутами туристских бюро — напрасно, ох, как напрасно.

Если спуститься по Андреевскому спуску вниз и свернуть направо, попадешь на единственную сохранившуюся на Подоле после пожара 1811 года Покровскую улицу с Покровской церковью и Николой-Добрым, с уютными ампирными особнячками, которых становится все меньше и меньше. А свернешь налево — попадешь во Фроловский монастырь.

Это один из двух киевских женских монастырей. Очень чисто, прибрано, подметено, сияет новой краской. Монахини все в черном, неприветливые, на тебя не глядящие. В церкви расписано все заново. Херувимы, серафимы, архангелы и очень много румяных, благостных святых. На подмостях двое молодых ребят, измазанных краской, — не из Художественного ли института?

Был когда-то в Киеве и мужской монастырь — Киево-Печерская лавра. Еще совсем недавно тебя водили по пещерам словоохотливые монахи, вступавшие в дискуссии с молодыми атеистами. В пещерах было темно и жутковато, освещалось все тонюсенькими восковыми свечками, которые ты приобретал у входа в пещеры. В пещерах покоились мощи святых отцов и великомучеников — Нестора Летописца, Ильи Муромца, святого Кукши. Под стеклом маленькие, ссохшиеся ручки.

Сейчас все это залито ярким электрическим светом. Вместо монахов — бойкие, незадерживающиеся экскурсоводы, над местами захоронений — таблички: «Кости молодого человека, приписываемые церковниками якобы св. Вирсанавию». В специальном музее у входа в пещеры те же мумии и объяснения, почему они мумифицировались, — в этих местах такая, мол, почва. И если и вас здесь захоронят, вы тоже сохранитесь на многие-многие годы.

Печерск — самая высокая часть города. Подол — самая низкая. В сильное половодье его даже заливают. В 1932 году вода дошла до самой Александровской улицы, и нас, студентов, освободили даже от занятий, чтобы что-то выкачивать. Разъезжая по затопленным улицам на хлюпающих плоскодонках, мы казались себе гондольерами на канале Гранде.

Подол — это свой особый мир. Как и все сейчас, он, конечно, нивелировался. О, Одесса — уже не та Одесса, говорят старые одесситы. И Подол — уже не тот Подол. Не те базары, не та торговля, не тот Днепр... Но все-таки здесь больше тельняшек, «крабов», «морских волков». Здесь своя речь, свои повадки, свои обычаи. И, конечно же, именно поэтому здесь жил А. Куприн. Много бы он здесь уже не узнал, но наверное бы пил пиво с Акимом Петровичем Мень-

шиковым, днепровским капитаном, умершим только в прошлом году на сто восьмом году жизни.

Да, Днепр уже не тот, нет плотов, снуют «ракеты», «кометы». А были плоты. Еще совсем недавно были. С будками, баграми, развешанным бельем, с лающими собаками, дымящимися над огнем котелками. С них прыгали, под них ныряли. Сейчас их нет. Плотины, шлюзы...

Подол, в отличие от Старого города, совсем плоский. Но за Житним базаром опять горы. Олеговская, например, или Мирная окунет вас опять в стихию дворигов и садов. Здесь же старое Щекавицкое кладбище, запущенное, заброшенное, заросшее, покосившиеся кресты, тишина, покой и только где-то высоко в небе — жаворонок.

По этим кладбищам, по этим улочкам только и бродить. Весной сирень, море сирени, заборы от нее валятся. Черемуха, жасмин... Не добрался еще сюда город со своими башнями и панельными домами.

Так, садами, садами, огородами, по булыжной мостовой попадаем мы с вами на Лукьяновку.

Лукьяновка. Вера Чибиряк. Дело Бейлиса...

Бабий Яр. Черные дни Киева...

* * *

Небольшой холмик цветов. Венки. Большие, маленькие, средние, просто букеты цветов. На венках ленты с надписями: «Отцу, матери, деду — от сыновей, дочерей, внуков», «Детям, которым не суждено было стать взрослыми», «Жертвам фашистских палачей».

Под венками — его сейчас не видно — серый гранитный камень. На нем написано, что здесь будет сооружен памятник. Вокруг лужайка — трава, елочки, березки, очень чисто, прибрано. За камнем роща, от камня к дороге — дорожка из бетонных плит, несколько ступенек, два столба с прожекторами.

Мимо по асфальту проносятся машины, автобусы, троллейбусы. В ста метрах дальше пестрый, прозрачный навес — остановка троллейбуса «Щербаковский универмаг». По другую сторону — новая телевизионная мачта. За асфальтом пустырь, кустарник, вдалеке новые корпуса Сырецкого массива. Если стать спиной к камню, то по правой стороне пустыря можно увидеть нечто вроде уступа, поросшего кустарником постарше. Это верхняя кромка несуществующего сейчас Яра. Здесь стояли пулеметы. И по другую сторону тоже.

Сейчас Яра нет. От замыт. Его пересекает асфальтированная дорога. Тридцать лет назад этой дороги не было. А был глубокий, до пятидесяти метров, Яр, овраг. Постепенно мелея и расширяясь, он тянулся до Подола, до Курневки. Это была окраина Киева — Сырец. Жилья здесь не было. Ближе к городу за кирпичной оградой было еврейское кладбище. Сейчас его тоже нет.

Тридцать лет назад, в первую же неделю немецкой оккупации, на стенах киевских домов появились объявления о том, что «все жида города Киева

должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбища) с документами, деньгами, ценными вещами, теплой одеждой, бельем и прочим».

Ни заглавия, ни подписи на серых афишках не было.

Развешены они были по всему городу.

Моя мать тоже читала. У нее было много друзей евреев. Она ходила по этим друзьям и упрашивала, умоляла их никуда не ходить. Бежать, скрыться, хотя бы у нее.

Мне непонятна магия этого объявления. Считали почему-то, что евреев согонят в гетто. Или увезут куда-то. Куда? Не важно, куда-то...

Никто из маминых знакомых не послушался ее. Пошли. Мама их провожала. Лизу Александрову, маленькую, большеглазую еврейку и ее родителей, стариков. Где-то у еврейского кладбища маму и других провожающих, а их было много, прогнали. Здоровенные солдаты с засученными рукавами и полицаи в черной форме с серыми обшлагами. Где-то дальше, впереди, слышна была стрельба, но мать тогда ничего не поняла...

Трагедия Бабьего Яра известна. Хочу только подчеркнуть — это было первое столь массовое и в столь сжатый срок сознательное уничтожение людьми себе подобных. Сто тысяч за три дня! Разве что Варфоломеевская ночь может сравниться — там было убито до тридцати тысяч гугенотов. Хиросима и Нагасаки уже потом.

Бабий Яр — это старики, женщины, дети. Это беспомощные. Люди крепче, помоложе, и не только евреи, нашли здесь свой удел уже позже — немцам понравился этот Яр.

Потом немцы ушли. Пытались скрыть следы своих преступлений. Но разве скроешь... Заставляли военнопленных сжигать трупы. Складывать в штабеля и сжигать. Но всего не сожжешь.

Потом овраг замыли.

В 1961 году произошла катастрофа. Прорвало дамбу, сдерживавшую намытую часть Бабьего Яра. Миллионы тонн так называемой пульпы устремились на Куреневку. Десятиметровый вал жидкого песка и глины затопил трамвайный парк, снес на своем пути прилепившиеся к откосам оврага домишки, усадьбы. Было много жертв.

Следов разрушения давно уже не видно. Дамбы восстановлены, укреплены, на месте прорыва — широкая автомобильная дорога; где был трамвайный парк, нынче многоэтажные здания.

Ничто уже не напоминает того, что здесь было. А у гранитного камня всегда цветы. И летом, и зимой. Мы тоже положим свой букетик. Каждый год 29 сентября сюда приходят люди с венками и цветами.

...Так трогательно-идиллически заканчивался мой рассказ о Бабьем Яре в рукописи, отнесенной в «Новый мир».

Да, до 1966-го все действительно происходило так — приходили, плакали и разбрасывали вокруг себя цветы. Венков никаких — куда их положить, куда прислонить? Ни памятника, ни обелиска — кругом кустарник, бурьян.

С сентября 1966-го все приняло иной вид. Появился камень. Серый, полированный гранит с надписью, отредактированной и утвержденной всеми положенными инстанциями, гласящий, что на месте расстрела «советских граждан в период временной немецко-фашистской оккупации 1941—1943 гг.» будет сооружен памятник. И теперь каждый год в день 29 сентября («День памяти жертв временной немецко-фашистской оккупации») возле камня воздвигается трибуна и с нее секретарь Шевченковского райкома партии произносит речь, в основном посвященную достижениям вверенного ему района в области строительства и выполнения плана в разных областях. Потом выступают несколько передовиков производства, и среди них обязательно один еврейской национальности (просто еврей — теперь не положено говорить) рассказывает о зверствах сионистов в Израиле. Потом исполняется гимн, и митинг объявляется закрытым. Вот тут-то и появляются люди с цветами и венками. Но возложить их не так-то просто. Милиция и дублирующая ее когорта в штатском тщательно проверяют надписи на венках, и, если что-либо вызывает подозрение («А на каком языке у вас написано? Переведите»), к услугам несущих эти венки молодых людей стоящие неподалеку «воронки». Людей постарше и с маленькими букетиками двойное оцепление пропускает беспрепятственно. Ну, может, кое-кого и сфотографируют...

Вот так происходит сейчас — организованно и четко, даже с заметкой на четвертой странице «Вечернего Киева».

Что же послужило толчком к тому, что появился вдруг камень, а рядом с ним раз в год и трибуна, охраняемая не менее чем сотней людей, для этого созданных, во главе с майорами, полковниками, а возможно, даже и генералами?

А случилось так, что одному из них, точнее, начальнику киевской милиции, в 1966 году вклеили выговор за то, что он, потеряв положенную ему бдительность, допустил массовое сионистское сборище в этом замытом и недозабытом Бабьем Яру.

До злополучного 1966 года все шло честь честью, без всяких эксцессов. В первые послевоенные годы задачи были и поважнее Бабьего Яра, только какие-то темные личности ползали по его дну в поисках то ли бриллиантов, то ли золотых коронок («с документами, деньгами, ценностями...»). Потом — просто свалка. Покосившийся столбик с лаконичной надписью «Мусор сваливать строго воспрещается, штраф 300 руб.» ничуть не мешал окрестным жителям избавляться от не нужных им старых кроватей, консервных банок и прочего хлама. Потом Яр замыли. Казалось, можно было бы о нем и не вспоминать. Так нет, в один прекрасный день 1966 года собралась здесь многотысячная толпа (два-

дцать пятая, мол, годовщина!), и несколько человек, среди них один даже коммунист, обратились к этой толпе с речами, нигде не проверенными, нигде не утвержденными. Коммунистом этим был я. Поэтому могу со всей точностью восстановить картину происшедшего.

Речь моя действительно никем не проверялась. Родилась она на месте, среди плачущих и рыдающих людей. И вообще это была не речь, просто захотелось сказать несколько слов о том, чего нельзя забывать, о случившемся здесь двадцать пять лет назад, о том, что на этом месте, конечно же, будет памятник, не может не быть.

Говорил в тот день и Иван Дзюба, человек, о котором в двух словах не скажешь, — писатель, умница, из тех, кто никого не боится, а поэтому и не любимый начальством всех сортов. Одна из наиболее ярких фигур Украины 60-х годов.

Его речь, на мой взгляд, это образец того истинного интернационализма, за который потом Дзюбе досталось (пять лет лишения свободы!), хотя в обвинениях против него он стал именоваться «украинским буржуазным националистом».

Начал он со слов:

«Есть предметы, есть трагедии, перед безмерностью которых любое слово бессильно и о которых больше скажет молчание — великое молчание тысяч людей. Может быть, и нам подобало бы тут обойтись без слов и молча думать об одном и том же. Однако молчание много говорит только там, где все, что можно сказать, уже сказано. Когда же сказано еще далеко не все, когда еще ничего не сказано — тогда молчание становится сообщником неправды и несвободы. Поэтому мы говорим, и должны говорить, где можно и где нельзя, используя всякий из случаев, которые представляются нам так нечасто.

И я хочу сказать несколько слов — одну тысячную часть из того, о чем сегодня думаю и что мне хотелось бы тут сказать. Я хочу обратиться к вам как к людям — как к своим братьям по человечеству. Я хочу обратиться к вам, евреям, как украинец — как член украинской нации, которой я с гордостью принадлежу.

Бабий Яр — это трагедия всего человечества, но произошла она на украинской земле. И поэтому украинец не имеет права забывать о ней так же, как и еврей. Бабий Яр — это наша общая трагедия, трагедия прежде всего еврейского и украинского народов».

И закончил словами:

«Мы должны всей своей жизнью отрицать цивилизованное человеконенавистничество и общественное хамство. Ничего более важного, чем это, сейчас для нас нет, ибо иначе все общественные идеалы утратят свой смысл.

Это наш долг перед миллионами жертв деспотизма, это наш долг перед лучшими людьми украинского и еврейского народов, которые призывали к взаимопониманию и дружбе, это наш долг перед украинской землей, на которой нам вместе жить, это наш долг перед человечеством».

Так закончил свою речь Дзюба. А вскоре появилась милиция и вежливо попросила всех разойтись. Не за эту ли вежливость и досталось потом начальнику милиции? Между прочим, кроме него, не поздоровилось еще и другому человеку, сном и духом не ведавшему о происшедшем, — директору киностудии документальных фильмов. Несколько моих друзей из этой самой студии на «сионистском сборище» присутствовали и даже попытались кое-что зафиксировать на киноплёнку. У них тут же ее отобрали. А директора сняли с работы.

Меня же, коммуниста, вызвали на партбюро... Бог ты мой, сколько раз вспоминали мне потом этот Бабий Яр. И у бесчисленных партследователей, с которыми свела меня судьба, и на парткомиссиях, и на бюро райкомов, горкомов, обкомов... «Расскажите, что у вас там произошло, в Бабьем Яру!» А ничего не произошло, просто я сделал то, что должны были сделать вы — райкомы, горкомы, ЦК — в день двадцатипятилетия гибели ста тысяч, как вы теперь говорите, «советских граждан», прийти и сказать то, что вместо вас сказал я — будет здесь памятник! — что сказал Дзюба — пора положить конец этой позорной вражде. Вы не пришли — не захотели, забыли, — пришли и сказали мы...

Через две недели после «сборища» на месте расстрела появился камень, тот самый, что и по сию пору стоит и, думаю, простоят еще многие, многие годы.

Приблизительно тогда же (будем объективны) кому-то наверху стало все-таки неловко и решено было объявить конкурс на «памятники жертвам фашизма», в том числе в Дарнице, где был лагерь для военнопленных, и в Бабьем Яру.

Я видел представленные на конкурс проекты.

В условиях к нему было сказано, что монументы должны художественным образом отражать героизм, непреклонную волю, мужество, бесстрашие наших людей перед лицом смерти от рук немецких палачей, должны показать зверское лицо гитлеровских захватчиков, а также должны выражать всенародную скорбь о тысячах незаметных героев.

Принимай я участие в этом конкурсе и прочитай эти условия, я, откровенно говоря, стал бы в тупик. Я не говорю в данном случае о дарницком памятнике, я говорю именно о Бабьем Яре — это памятник трагедии. Памятник в Варшавском гетто — памятник восстанию, борьбе и гибели, в Дарнице — зверски расстрелянным солдатам, бойцам, людям, попавшим в плен сражаясь, людям в основном молодым, сильным. Бабий же Яр — это трагедия беспомощных, старых.

Я не случайно упомянул слово «трагедия». И подчеркнул его. Вполне сознательно.

Многие из участников конкурса пошли по пути выражения протеста. «Нет! — говорят их памятники. — Это не должно повториться! Это не может повториться!» Перед нами группа расстреливаемых со сжатыми кулаками и вздетыми к небу руками, матери и прижавшиеся к ним дети, и опять руки, вытянутые вперед, — не допустим! Перед нами кричащие все то же «нет» головы. Довольно! Хватит крови!

Но, как ни странно, стоя перед этими памятниками, начинаешь чувствовать какое-то смятение, неловкость. Кажется, что тебе кричат: «Нет!», что тебя не подпускают. И ты пятишься назад... Тебе страшно.

Вот и хорошо, что страшно, возразят мне, здесь и дела были страшные. Согласен, страшные, но нельзя все же забывать, что здесь, кроме того, и кладбище, а на кладбище как-то не положено кричать, хочется сосредоточиться, уйти в себя, подумать, вспомнить.

И вообще я не хочу, чтобы мне подсказывали эмоции. Они должны возникнуть сами.

Я просмотрел около тридцати проектов. Передо мной прошли символы и аллегории, протестующие женщины, вполне реалистичные, полуголые мускулистые мужчины, и фигуры более условные, и вереницы идущих на казнь людей... Я увидел лестницы, стилобаты, мозаику, знамена, колючую проволоку, отпечатки ног... Увидел много талантливого, сделанного сердцем и душой (это, пожалуй, один из интереснейших конкурсов, которые я видел), и мне стало вдруг ясно: места наибольших трагедий не требуют слов. Дословная символика бледнеет перед самими событиями, аллегория бессильна.

Мне, пришедшему сюда поклониться праху погибших, не надо рассказывать, как эти люди умирали. Мне все известно. И кричать тоже не надо. Я сам знаю, где и когда надо крикнуть. Я просто хочу прийти, и положить цветы на братскую могилу, и молча, в одиночестве постоять над ней.

Я видел много памятников жертвам фашизма. Плохих и хороших. Кричащих и безмолвных. Но ни один не произвел на меня такого впечатления, как памятник в Треблинке. Там только камни. Сотни, тысячи камней. Разной величины и формы. Острые, тупые, оббитые, покосившиеся. Одни камни. Точно проросшие сквозь землю. Мороз проходит по коже...

Ближе всего к тому, о чем я говорю, что сам для себя пытаюсь решить, приближается проект памятника неизвестных авторов под девизом «Черный треугольник»: две исполинские призмы, одна чуть-чуть наклонившаяся к другой. Больше ничего. Я не могу объяснить сейчас, в силу чего, — а может быть, это и есть самое главное, — но я вдруг представил себя у подножья этих возвышающихся над всей местностью призм-долменов, услышал, как они, лишённые дара речи, кричат мне о чем-то страшном и незабываемом.

А может, и не кричат, а говорят шепотом. А может, это я сам кому-то говорю:

Остановись и склони голову.

Здесь расстреляны были люди.

Сто тысяч.

Руками фашистов.

Первый залп был дан 29 сентября 1941-го.

* * *

Нет, не надо памятника!

Лучший памятник — нынешний камень. В нем есть все — и тридцатилетнее забвение, и скромность, и длинная, лишенная каких-либо эмоций, заштампованная газетная надпись, и обещание («будет памятник, куда вы торопитесь?..»), и никакого крика и экзальтации, а главное — есть куда положить цветы. Положить и молча постоять...

А в Дарнице — трое здоровенных парней, полуголые, сплошные мускулы, полны гнева и ненависти. Непонятно только, почему они, такие сильные и сытые, не порвали свои путы и не ринулись на немцев. Да от таких ребят весь конвой разбежался бы по кустам.

* * *

И еще одна трагедия.

Может быть, даже более страшная, чем смерть. Надругательство над ней. Дикое, постыдное, ужасное, непонятное...

Я иду по тенистой аллее. Тихо, пустынно, шуршат под ногами листья. А кругом... Кругом тысячи, десятки тысяч поверженных, разбитых, исковерканных памятников...

Старое еврейское кладбище...

Сворачиваю в другую аллею, третью, четвертую... Та же картина. Многотонные гранитные, мраморные памятники в пыли, в осколках. Маленькие овальные портреты разбиты ударом камня. И так на протяжении... Не знаю, что сказать. Все памятники, все до единого, уничтожены. А их тут не сочтешь. Пятьдесят, сто тысяч... Город мертвых. В мавзолеях, склепах содран мрамор, на стенах надписи — лучше не читать...

Известно, что немцы в порыве слепой злобы уничтожили центральную аллею. На остальные не хватило сил и желания. Остальное совершено потом.

Кем?

Никто не знает или молчат.

Пьяное хулиганье? Но оно, вооружившись, допустим, ломami и молотками, могло справиться с десятком-другим памятников. Они сделаны добротно, на века, на свинцовом растворе.

Нет, это не хулиганье. Это работа планомерная, сознательная. С применением техники. Без бульдозера или трактора, а то и танка, не обойдешься.

Иду дальше... Хоть бы один сохранился. Нет — все! И на дне оврага груды осколков. Не поленились подтащить и сбросить. За день, за два этого не сделаешь. Недели, месяцы...

И не в пустыне. В городе. Совсем рядом троллейбус, а в конце улицы Герцена (Герцена!), в полукилометре от кладбища, дача, в которой жил Хрущев...

Все это я обнаружил в конце пятидесятих годов. Случайно, гуляя... И онемел. Никто ничего мне об этом не говорил. А вот прошли годы. И у скольких людей там были похоронены отцы и деды. Значит, сюда приходили. И не только приходили. Некоторые из памятников, немного, может быть, сотня или две, были зацементированы в поверженном, лежащем положении, чтоб больше не сбивали...

Никто об этом не говорит. Молчат. Я спросил у жильцов домика при входе на кладбище. Возможно, бывшие сторожа. «Не знаем, не знаем... Ничего не знаем...» И глаза в сторону.

Я задаю себе вопрос. В сотый, тысячный раз. Кто они? Кто разрешил? Кто дал указание? Кто исполнил? И сколько их было? И когда они это совершили? И откуда эта лютая злоба, ненависть, хамство? Или наоборот — спокойный, хладнокровный расчет: сегодня — отсюда досюда, завтра — отсюда до того вот памятника, к 20-му чтоб было закончено...

И все это во второй половине XX века, в славном городе Киеве, на глазах у всех...

Я побывал там сейчас. Перед самым отъездом. Через пятнадцать лет... Заросло кустарником. Поверженные памятники куда-то вывезены. Но не все. То тут, то там белеют среди бурьяна и зарослей недобитые пьедесталы, ступени, обломки мрамора и Лабрадора.

И бульдозеры. Скрежеща и урча, пробивают на месте главной аллеи куда-то дорогу... Людей нету. Пусто. Мертво... И страшно.

* * *

Пожалуй, лучше всего бродить одному, где бы это ни было. В Киеве, в Москве, Париже, Самарканде. Тогда-то и рождаются в голове какие-то мысли, мысли, которые никак не получают туда доступа в другое время, в другом месте. Что-то вдруг придумывается, рождается, разрешаются конфликты твоих героев, не решавшиеся, когда ты сидел с карандашом в руке. Это — когда ты бродишь один по знакомым тебе местам. А незнакомые, впервые увиденные улицы, кроме всего остального, возбуждают еще какие-то параллели, ассоциации, сравнения.

Менее всего интересно гулять по Нью-Йорку. Там я выходил рано утром, когда все еще спали, и бродил по улицам, вокруг гостиницы. Было скучно. Улицы прямые, пустынные, какие-то глухие стены. Хороши только верхние этажи небоскребов. Эмпайр стейт билдинг — он первый, освещенный восходящим солнцем. Пытался выходить к Гудзону, но всегда напарывался на какие-то бесконечные заборы с громадными буквами и тощих, пугливых кошек. В Централ-парке тоже скучно, а на Вашингтон-сквер, где собирается молодежь, хотя и не скучно, но это уже не прогулка, а нечто другое, и кончается она обязательно кафе или рестораном.

Один только раз мне удалось хорошо побродить. Я шел ночью по пустому Бродвею. Рекламы горели, но людей не было. Даже ни одного пьяного я не встретил, что, правда, в Нью-Йорке явление редкое. Иногда проносились машины, безмолвные, темные.

Дойдя до нашего сколько-то там этажного «Говернор-Клинтон-отеля», я поднялся в лифте почему-то на самый верх и каким-то чудом оказался на крыше отеля. Какая-то дверь, лестница и вдруг — крыша. Никто меня не задерживал.

Нью-Йорк спал. Или делал вид, что спит. Светились окна только в небоскребе редакции «Нью-Йоркер», неподалеку от нас, светились ущелья улиц и красные фонари Эмпайр стейт билдинга. И факел на статуе Свободы — маленькая мигающая точка. Было зябко — конец ноября.

И вдруг я увидел нечто необыкновенное. Гнездо аиста. Самое настоящее гнездо аиста у высокого, затянутого решеткой парапета. Сначала я даже не поверил. Я был уверен, что аисты — это наша украинско-среднеазиатская прерогатива. Ну, может быть, еще в Африке, Индии, Японии они водятся. Но там скорее цапли. А тут настоящее «лелекуно» гнездо, как на соломенной «стрихе» полтавской хаты. Большое, метра полтора, из веток, все честь-честью. И в нем яйцо. Одно-единственное яйцо — большое, белое, такое одинокое. Бывает же такое... Я положил его в карман.

Я вспомнил это гнездо потом, в Бухаре, сидя у прозрачного, как в Тадж-Махале, бассейна Лаб-Хауз, в котором отражались древняя мечеть и совсем такое же гнездо на верхушке столетнего тополя. Аистиха сидела на яйцах, а может, уже и цыплята вылупились, и изредка поглядывала на нас, сидящих внизу за обязательным пловом с зеленым чаем. И я подумал: хорошо тебе, бухарская аистиха, взмахнула крыльями и полетела за кормом для своих детенышей. А нью-йоркской? Куда та летала за обедом? В Сентрал-парк?

В Бухаре этих гнезд несметное количество. На всех без исключения минаретах. И на куполах мечетей. И на тополях. Их не меньше, чем телевизорных антенн, ошетиливших собой весь этот бело-глиняный, сказочный, точно из сказок Шехерезады, город.

Я много бродил по Бухаре. Тесные, кривые улочки как будто похожи одна на другую, но в каждой из них свои особые старухи, старички, чумазая ребятня. И вдруг улица эта упирается во двор вросшей в землю тысячелетней мечети. И под сенью чинары сидят бородатые старики в чалмах и что-то едят или чем-то торгуют. А рядом чего-то ищет в расселинах меж древних плит меланхоличный ишачок. «Салям», — говорю я старикам, и те тоже говорят «салям». Я подсаживаюсь к ним, и они угощают меня дыней, полутораметровой бухарской дыней. И мы молча сидим в тени чинары под бирюзовым азиатским небом, и я разглядываю красивый орнамент арабской вязи на зеленых изразцах входа в мечеть и спрашиваю стариков, что там написано. Они не понимают меня — я их, но слово «аллах» я все-таки удавливаю.

Мне жаль, что только старики еще могут разобрать эти надписи. Они так красивы. Мне жаль, что нынешняя молодежь редко читает Коран. Коран — это не только скрижаль ислама, это великое искусство, это история народа.

Не мне судить, нужно ли было менять орфографию в республиках Средней Азии (в Грузии и Армении она сохранилась), но то, что арабский шрифт — шрифт, которым писали Улугбек и Навои, из которого сотканы неправдоподобно прекрасные узоры мавзолеев Шах-и-зинда в Самарканде, Гур-Эмира, Биби-Ханум, Регистана, — что эта вязь сама по себе произведение искусства, — это ясно, по-моему, каждому.

Неизвестно для чего я поведал все это старикам. Они ни слова не поняли, но кивали головами — хоп, хоп, хоп...

Но вернемся в Нью-Йорк, на мою крышу. Подняв воротник — ветер был пронизывающий, — я любовался уснувшим городом. Старался найти самый высокий до 1930 года небоскреб Нью-Йорка — Вулворт — и так и не нашел его и, окончательно замерзнув, оказался вдруг в Пенсильванском вокзале. Почему я там оказался — не совсем ясно, но, вероятнее всего, по той причине, по которой русский человек оказывается на вокзале ночью, хотя ему некуда ехать и некого встречать. К тому же вокзал этот, Пенн-Стейшн, как его называют нью-йоркцы, находится совсем рядом с нашей гостиницей.

Громадный, с уходящими ввысь сводами, оснащенный весь, как это было модно в конце прошлого века, колоннами, он был совершенно пуст. Ни души. Ни носильщика, ни полицейского, не говоря уже о пассажирах. Я поклонялся по безлюдным, гулким залам, наткнулся на телеграф, послал кому-то телеграмму — просто так, чтоб получили телеграмму из Нью-Йорка, и к концу своей прогулки обнаружил то, что, очевидно, и искал. Шоколадного цвета молодой человек налил мне чего-то очень крепкого и дал мне ломтик белоснежного хлеба с куском мяса непонятного мне происхождения.

Устроившись на высоком табурете, я погрузился в размышления. Жуя и пия неизвестные мне кушанья, я удивлялся тому, как Хемингуэй запоминал на долгие годы все то, что он пил и ел в парижских ресторанах «Куполь» или «Липп», «Лида», «Де маго», «Ротонда», «Тулузский негр», «Мишо»... Там-то они взяли бутылку «флери» или «сансерра» и закусывали «кассонэ» — рагу из дичи с бобами и горошком, а там пили «марсала» или «бона» и ели плоские дорогие устрицы «маренн» вместо обычных, дешевых «портюгез» или вермут «шамбери касси» с толстыми сосисками «сервелас», политыми горчичным соусом. И все-то он запоминал. Очевидно, он все же был чревоугодником, наш кумир Хемингуэй. А чревоугодие, увы, грех номер один. В Киеве у входа в Ближние Лаврские пещеры на стене громадное изображение нелегкого пути в рай человеческой души. Она, душа, проходит через цепкие лапы великого множества грехов, изображенных в виде омерзительных чертей, и вот на первом месте самый тяжкий грех — чревоугодие, оставляющий далеко позади ложь, пьянство, корыстолюбие, жадность, тщеславие и даже прелюбодеяние. Какие еще были грехи у Хемингуэя, мне неизвестно, человек он был замечательный, но то, что он любил

не только выпить, но и плотно, со знанием дела поест, — это для меня теперь ясно.

Пока я посасывал свой напиток, размышляя о хемингуэевских меню, я не обратил внимания на то, что рядом со мной оказался немолодой уже человек в сером поношенном пальто и с очень грустным лицом. Он взял пиво у сонного негра и вдруг заговорил со мной по-украински. Я остолбенел!

— Просто я побачив торчащу в вас з кармана газету «Українські щоденні вісті», от і все.

Он был слегка на взводе и заговорил о спорте, точно продолжая со мной какой-то спор, который мы не успели с ним когда-то кончить. Я в этой области не очень силен, поэтому ограничивался междометиями, а он доказывал мне превосходство каких-то Биллей и Динов над Джеймсами и Тэдди. Роясь в кармане пальто в поисках спичек, я наткнулся на аистиное яйцо и вместе с содержимым кармана положил его на стойку.

— О, лелека! — обрадовался вдруг мой сосед. — Аїстине яйце... Відкіля воно у вас?

Я сказал, что нашел его на крыше небоскреба.

— Диви, куди його занесло. Лелека та и на хмарочос!...

Мне приятно было услышать это чисто украинское название аиста — лелека, по этому случаю мы взяли еще что-то и выпили за здоровье лелеки и ее будущего птенца, который обязательно, по мнению моего соседа, должен вылупиться.

— Ви завижть його в щось тепле, і ось побачите, в Москві у вас запищить щось в чемодан. Йй бо...

И он стал говорить об аистах. Оказывается, хотя аисты и редкость в западном полушарии, но он хорошо помнит, что, когда был маленьким, у них на ферме где-то в Массачусетсе аисты свили гнездо на крыше их дома и стали совсем ручными, он их прямо из рук кормил. Потом они куда-то улетели и больше не появлялись. Потомства после себя, к сожалению, не оставили.

Потом мы вернулись опять к спорту. Я попытался с этой темы перейти на какую-нибудь другую, на его прошлое, профессию, политику, но моей инициативы он не поддержал и продолжал обсуждать спортивные дела и возможности своих Биллей и Тэдди. Когда стало светать и вокзал начал заполняться первыми пассажирами, мы расстались.

Яйцо я привез домой. Когда раскрыл чемодан, в нем, увы, ничего не запищало.

Эта неожиданная встреча за стойкой бара с земляком (мне все-таки удалось выудить у него, что родители его родом с Черниговщины, сам же он родился уже в Америке) и разбившее спортивные рассуждения моего собеседника аистиное яйцо как-то очень меня тогда растрогали, и теперь, глядя на наших украинских аистов, важно стоящих в своих гнездах на соломенных или теперь чаще железных крышах где-нибудь на Черкащине и Полтавщине, я всегда с теплотой вспоминаю «свое» нью-йоркское гнездо.

Пенн-Стейшн невольно натолкнул меня сейчас на одну из излюбленных мною тем — вокзальную. Я с детства неравнодушен ко всему железнодорожному — паровозам, стрелкам, ночным зеленым глазам семафоров, фонарям в руках проводников и, конечно же, к вокзалам с их особым запахом, гулом и предотъездной, куда-то зовущей суетой. Идеалом был Брянский (ныне Киевский) вокзал в Москве — крытые стеклом платформы придавали ему особый, заграничный вид, ни дать ни взять — парижский вокзал Сен-Лазар, который я знал, правда, только по картине Клода Моне.

Долгое время наш киевский вокзал был кровоточащей для нас раной, несмываемым позором. Такой город, а вокзал — барак. Длинный, одноэтажный, деревянный барак. А перед ним площадь — грязная, булыжная, с извозчиками и мальчишками: «Кому воды холодной!» Сейчас стоит новый вокзал, о котором и будет рассказ. Но прежде чем начать его, я убедительно прошу всех впервые приезжающих в Киев (не прилетающих, а именно приезжающих) не заходить внутрь вокзала, а, пройдя по перрону, выйти прямо к метро или по подземному ходу к троллейбусу. Так будет лучше.

Вокзал — это ворота города. В Киеве их надо миновать. А возвращаясь к себе домой, постараться через вестибюль пройти, как это ни трудно, с закрытыми глазами. Так тоже будет лучше.

Итак, в 1929 году начали строить новый вокзал. Это было событием. Объявили конкурс. Участниками его были известные московские и ленинградские архитекторы, но первую премию получил киевлянин — Александр Матвеевич Вербицкий, добропорядочный последователь дореволюционного модерна, маститый киевский архитектор, с которым впоследствии столкнула и меня судьба.

Условия конкурса были довольно необычны. Фасад здания должен был быть выдержан в духе вышедшего тогда на арену конструктивизма, но с учетом элементов украинского барокко. Сочетание, мягко выражаясь, довольно нежное.

Вербицкий из этого тупика как-то выбрался. Отдал дань барокко в центральной части вокзала, обравив громадное параболическое окно вестибюля так называемым кокошником. Украинского в нем было не ахти как много, но что-то от митрополичьих покоев Софийского собора все-таки чувствовалось. Другой киевский архитектор, Дьяченко, в этой части пошел еще дальше, совсем приблизился к XVIII веку, поре расцвета украинского, так называемого мазепинского барокко. Братья же Веснины, напротив, сделали упор на современность, конструктивизм — бетон, стекло. Вербицкий нашел середину — и бетон, и стекло, и вот, пожалуйста, кокошник.

Мне проект вокзала очень нравился. Скажу по секрету, нравились мне тогда все проекты без исключения, но, поскольку строить предполагали по проекту Вербицкого, я влюбился именно в него.

И вот, о счастье: окончив профшколу, я стажером пошел на строительство этого самого вокзала. Два года корпел в техотделе над синьками арматуры, а по-

том мастерил «восьмерки» и «кубики» из литого бетона, которые, «схватываясь» на двадцать восьмые сутки, разрывались и раздавливались в бетонной лаборатории Политехнического института. Все это мне казалось знаменательным и важным — я строил вокзал, красу и гордость нового Киева.

Вокзал был весь в лесах — и снаружи, и внутри, — и я бегал по ним, как матрос по реям, и любовался с сорокапятиметровой высоты вестибюля (того самого кокошника) расстилавшимся внизу городом — куполами Владимирского собора, далекой Софией и маленьким памятником Ленину у самого вокзала, на виадуке над товарными путями — скромный бюст, обсаженный вокруг тротательными незабудками.

Потом леса сняли, и вокзал предстал в своей бетонной наготе — в гигантских параболических, освобожденных от опалубки арках было что-то торжественное, от древних соборов, величественное. И в то же время все было просто и целесообразно. Вестибюль, широкая лестница, направо и налево залы ожидания, высокие, светлые, без всяких украшений — XX век...

Я был счастлив и горд. Снял своего любимца со всех возможных точек и фотографии отправил в журнал «Глобус». Их напечатали. Гордость и счастье дошли до предела.

Так простоял вокзал до войны, до прихода немцев. Уходя, они попытались его взорвать, но «мой» бетон был крепок и толу не поддался — только стекла повывлетали и кое-где закоптилась белоснежная штукатурка.

Но главная трагедия ожидала вокзал впереди. Его восстановили. Но как? Кому-то показалось, что торжество победы неотъемлемо связано с пышностью форм. Побольше колонн, карнизов, капителей, завитков, лепных украшений. Это называлось «обогащением». И обогатили...

Нет, приезжий, очень прошу тебя — не заходи внутрь вокзала. Все, что есть безвкусного, лишенного какой-либо архитектурной логики, собрано там воедино. Арки уничтожены, заменены спаренными колоннами, параболические окна по мере возможности заделаны и «украшены» по бокам нелепыми пилястрами, потолок усеян какими-то звездочками, в залах ожидания на стенах производственно-идиллические пейзажи, вместо светящихся плафонов — тяжелые метростроевские люстры. От замысла архитектора не осталось ничего. Смотрел ли автор этой расправы — имени его не будем называть — в глаза Вербицкому, когда расправлялся с его творением? Ведь он был, кажется, его учеником.

Я, кстати, тоже был. Делал под его руководством проект опять-таки вокзала (он был почему-то полукруглый, более чем неудобный для эксплуатации), а затем какого-то ресторана на берегу Днепра. Дружбы у нас не получилось. Александр Матвеевич внимательно, молча, сквозь пенсне рассматривал мои архитектурные упражнения, качал головой и выше «тройки» оценки мне не ставил.

Потом уже, после войны, пытаясь попасть в аспирантуру своего же Строительного института, я опять попал к нему, и он тихо и спокойно, такой же, как и до войны, седой, длиннолицый, в пенсне, срезал меня на «кляузуре» — блиц-

проекте, который нужно сделать, не выходя из аудитории, за какие-нибудь три-четыре часа. «Воевали вы, может быть, и неплохо, не мне судить, но до аспирантуры надо все-таки малость восстановить забытое. Поработайте годик-другой в проектном бюро, а потом милости просим».

С горя я напился и устроился в газету.

* * *

Когда во Франции меня спрашивают, какие газеты я читаю, ожидая, что я скажу «Le Monde» или, на худой конец, «Quotidien de Paris», огорошиваю кратким: «Ici-Paris»... Ну и «France-Dimanche». Парижане шокированы. Самые пошлые, бульварные листки, чтиво для консьержек, и вдруг...

Да, вдруг...

Парижанам невдомек, что такое «Правда». А нам после постной сухомятки так хочется убийств, ограблений, прелюбодеяний, любовных похождения кинозвезд и экзотических принцесс.

В Женеве меня попросили выступить на семинаре русского факультета. Тема — «Журналистика в СССР». Как человек объективный, я рассказал об «Отделе писем» советских газет, отделе в основном консультативном и действительно много помогающем «трудящимся» в борьбе с житейски-бытовыми сложностями и безобразиями. Я имел касательство к одному из таких отделов и знаю, как много они могут сделать. Но если говорить о прямом назначении газеты — об информации... Ох и доставалось мне в свое время от итальянских газетчиков-коммунистов за наши газеты. «Правда» для них должна служить примером, но как этому примеру следовать?

В Женеве я предложил студентам такую игру. Пусть кто-нибудь сбегает за угол за «Правдой» (в Женеве она продается), а я тем временем расскажу примерное ее содержание.

— Итак, — начал я, выпроводив студента, — на первой полосе сверху справа будет несколько улыбающихся физиономий в касках. Что точно и на сколько процентов они перевыполнили план, сказать точно не могу, но что рекорд поставили — ручаюсь! Внизу справа — сообщение о дружеской встрече (с фотографией или без, в зависимости от ранга и значения гостя) на Внуковском аэродроме. Если высокий гость в этот день не ожидается — приветствие Живкову, или Кадару, или еще кому-нибудь с очередным юбилеем и обязательными пожеланиями «крепкого здоровья, новых больших успехов в Вашей деятельности на благо трудящихся... республики, во имя торжества мира и социализма». Слева передовица — «К еще большему...», «К дальнейшему увеличению...», «В закрома Родины...», «Глубже вникать...». Кроме корректоров, дежурного по номеру и еще десятка-двух лиц, никем не читается. Внутренность газеты — 2-я, 3-я, 4-я страницы тоже в основном пропускаются. Задержимся на пятой — международная информация и шестой — спорт, искусство, погода, телевидение.

Пятая — слева вверху «Вести из стран социализма» — улыбающиеся лица, на этот раз венгра или поляка (текст не читается), справа «Колонка комментатора» (не читается никогда), посередине доводящая до колик от смеха карикатура Абрамова или Фомичева — залатанный, печальный английский лев, или маленькие, брызгающие слюной человечки (Би-би-си, Радио «Свобода»), или еще что-нибудь в этом роде о НАТО, инфляции или безработице. Справа «С теле-тайпной ленты» — землетрясения, катастрофы, наводнения и опять же рост безработицы (если не читается, то просматривается). Как правило, читаются три маленькие колонки внизу — про раскопки, пигмеев, истребление тигров или слонов, кражу картин в музеях, полет на воздушном шаре или «Через Атлантику на плоту». На этой же странице обычно и «достойные отповеди» — ответы «небезызвестному» или «печальной памяти» «с позволения сказать» журналисту, «махровому», если он уже очень допек, или «которого никак не обвинишь в симпатиях к Советскому Союзу», если что-нибудь похвалил. Основные козыри в этой, условно назовем ее, полемике — кавычки, обрубленные цитаты и насмерть разящее «ошибаетесь, господа! не выйдет!» (слова «господин», «госпожа» — Голда Меир! — почему-то считаются особенно разоблачительными). Кончается статья, как правило, обязательным: «комментарии, как говорится, излишни». Оппонент сражен, валяется в пыли...

О шестой странице говорить нечего, кроме того, что она единственно читаемая — футбольно-хоккейные баталии, шахматы, что-нибудь о природе, балете и обязательная идиллическая фотография (фотоконкурс «Правды») в стиле до-революционной «Нивы» — закат, вечереет, весенние мотивы. Дальше — радио, телевидение, театры (кино нет, это в «Вечерке»), погода.

Принесли «Правду».

Признаюсь, испытал некоторое разочарование. Ребята в касках не улыбаются, а просто стоят на извивающихся трубах гигантского высоковольтного агрегата... И никто на Внуковский аэродром с дружеским визитом не прибыл. Наоборот, «Нерушимая братская дружба» крепнет и развивается на трибуне в Берлине — улыбаются на этот раз Брежнев и Громыко, Гречко мрачен. Зато поздравление товарищу Петру Ярошевичу есть: «В нашей стране высоко ценят ваш большой личный вклад в дело укрепления...» С передовицей тоже не угадал. Оказалось «Отчетно-выборные партийные собрания», но «Хлеб — Родине» все же есть, рядом заметка.

На пятой странице вместо поляков или венгров улыбаются болгарки — уборка фруктов в аграрно-промышленном комплексе Камча Варненского округа. У М. Абрамова на карикатуре — угадал — человечки, но не Би-би-си, а неофашисты в виде пауков с бомбами, гранатами, пистолетами и кинжалами. Тут уж не до смеха — просто страшно. «Новости науки и техники» — о потухших звездах. Достойной отповеди, какой-нибудь «У лжи короткие ноги», увы, нет.

А вот шестая страница в чем-то побилла даже рекорд. В заметке «Жил Мишка на заставе» прапорщик В. Смирнов рассказывает поистине интереснейшую историю. Историю о медвежонке, который отбил от мамы и поселился у пограничников. Вот о его жизни, о том, как подружился он с поваром

младшим сержантом Борисом Кирьяшиным, как тот разнообразил ему меню — со сгущенки перешел на свежую рыбу, гречневую кашу и остатки компота, как мишук гонял по двору насмерть перепуганного поросенка и дружил с заставским котом Васькой, и о том, как пришлось с ним расстаться, и поведал читателям «Правды» милый прапорщик Смирнов. От последних строчек наворачиваются слезы на глаза: «Его отвели в лес, сняли ошейник. Мишка смотрел на удаляющихся людей и шумно вздыхал, еще не понимая, почему его оставили одного...»

Надо добавить, что в «Правде», не в пример «Le Monde», не говоря уже о «New York Times», всего шесть страниц и в стране издаются миллионными тиражами «Пионеры», «Звездочки», «Вожатые», юные читатели которых очень любят читать про приبلудных мишек, лисичек и лосят, про то, как они дружат с котом Васькой и мл. сержантом Борисом Кирьяшиным.

На этой же странице, вместо балета, статья, посвященная юбилею видного поэта. Массив его поэзии, как сказано в статье, видится крупно... «Гуманистический смысл социалистической революции как необходимая предпосылка и основа для распрямления человеческой личности, для расцвета людей и народов, искусство как память и совесть человечества, незаменимое и важное для тех, кто социально обновляет мир. Орудие борьбы за интернационализм, за торжество гуманности — подлинной, активной, возвышающей человека — обо всем этом размышляет, в эти проблемы углубляется, к ним приобщает, ими заражает нас муза поэта».

Прорвавшись сквозь это чудовищное нагромождение чепухи, не знаешь, смеяться или плакать. Как могла родиться такая фраза, такой пассаж? Что руководило автором этих строк? Восторг и экстатическое преклонение перед поэтом или утонченное издевательство? Смею утверждать — ни то ни другое, а самое обыкновенное безразличие плюс набитая рука. Представляю себе разговор редактора с автором статьи. «Надо, старик, тиснуть юбилейную статейку об Н. Н. Наверху сказали, — палец в потолок, — преподнести, как надо. А ты умеешь, не жалеешь слов и превосходных степеней. Подпусти фимиамчику, всякого там гуманизма, творческого накала, широты диапазона, ну, сам знаешь...» Не сомневаюсь, окажись поэт не юбиляром, а, наоборот, «буржуазным националистом» (а юбиляр в свое время чуть-чуть им не оказался) или просто «подпевалой чужих идей», тот же автор, с той же лихостью, тот же пассаж, начинающийся со слов «гуманистический смысл» и кончающийся «за торжество гуманности», завершил бы словами: «Все это чуждо, враждебно поэту, его муза не заражает, не вдохновляет, массив его поэзии ничтожен, пространство ее мелко и узко. Советскому читателю она не нужна, он давно перерос и обогнал ее».

Я хорошо знаю этого поэта и если не дружил, то был, во всяком случае, в приятельских отношениях, на Новый год получал поздравительные открытки. Ни первый набор слов, ни второй, придуманный мною, но в свое время весьма вероятный и возможный, к истинному творчеству поэта не имеют никакого отношения. Судьба его, поэтическая и гражданская, нелегка (я хотел написать сначала «сложна», потом «проста», но остановился даже не на «тяжела»,

хотя, вероятно, надо было сказать именно так) — это судьба советского интеллигента, избравшего служение не народу, а властям предрержащим. Одно время он и сам был этой властью. Занимая высокий пост, всегда мог оказаться в краях не столь отдаленных. Искреннее расположение (действительно искреннее) к нему одного авторитетного лица избавило его от печальной участи — а он был уже на краю. О музе его говорить не будем — она часто меняла туалеты, а случалось, оставалась и без них. Гражданская его муза — на миг предположим, что есть и такая, — мало отличается от поэтической. Я помню, как в тяжелые дни «космополитизма» он сначала защищал своего друга (вернее, не нападал на него), а потом, после соответствующего внушения, отрекся от него, что не помешало им остаться друзьями — одна из особенностей дружб в тоталитарном государстве.

А в общем, мне этих людей жалко. Господи, до чего им хочется сохранить приличный вид, как важно им сидеть на председательском месте (и хочется и колется, боязно с ним расстаться) и в то же время дружить с Пабло Нерудой или Ренато Гуттузо. Впрочем, и тем тоже хочется дружить, хотя нашему надо отчитываться во всех своих заграничных поездках, а тем нет — захотел в Израиль и поехал в Израиль или, на худой конец, в Париж послом.

Знал я и другого поэта, очень крупного, но, не в пример предыдущему, честного и порядочного. Более того, он действительно служил — нет, не хочется мне говорить «народу» — это понятие слишком растяжимое, неуловимое, используемое всеми режимами, в особенности диктаторскими, — не хочется говорить и «служил», просто был человек, веривший в правду и пытавшийся в меру своих сил помочь ей. И вот для него — члена ЦК и депутата Верховного Совета — очень важны были эти иллюзорные знаки избранности, и расставаться с ними (а это случалось) было для него более чем болезненно.

Писатель и государство, писатель и народ, писатель и цирковое искусство (в частности, эквилибристика, баланс, жонглирование) — все это темы, которых не миновать, но сейчас, коснувшись газеты, поговорим о ней обстоятельнее.

Та, в которой я проработал два с половиной года, с 1944-го по 1947-й, — «Радянське мистецтво» (по-русски «Советское искусство») — выходила раз в неделю, «высокой» политики, кроме общих, положенных в передовице фраз, не касалась, а потому особенно типичной я б ее не назвал. К тому же редактор наш был хотя и важен, но ленив и все перепоручал своему заместителю, человеку живому, веселому, умному, умевшему найти общий язык со своими подчиненными. Да и время — конец войны, начало мира — было полегче.

И все же не обходилось и без курьезов. Как-то я понес председателю комитета по делам искусств (главный редактор был болен) статейку о том, над чем работают сейчас художники Украины. Статьи как статейка — тот о войне, тот о восстановлении, тот портреты передовиков, индустриальные пейзажи. Председатель пробежал глазами статью, одобрительно кивая головой, но в одном месте что-то вычеркнул и надписал сверху. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в картине одного достаточно известного художника «Н. С. Хрущев в гостях у шахтеров Донбасса» фамилия Хрущева была заменена Кагановичем.

Я вопросительно глянул на своего начальника. «Газеты надо читать, молодой человек. Со вчерашнего дня первым секретарем у нас Лазарь Моисеевич». — «Да, — несколько растерялся я, — но художник ведь...» — «Ничего, переделает...» И самое забавное, действительно переделал.

Не менее забавен и очень типичен другой случай. На этот раз не из моей, а из «творческой» биографии моего друга, работавшего в центральной республиканской газете. На летучке или планерке обсуждалась последняя пьеса Александра Корнейчука, мэтра и законодателя всей советской драматургии. Два сотрудника из наиболее интеллигентных и культурных (вдруг почему-то их прорвало) очень тонко, с юмором расправились с пьесой, а заодно и со спектаклем. Мой друг, тогда еще неопит и в театральных делах не очень-то разбиравшийся, встал горой за пьесу — она ему действительно понравилась. Культурно-интеллигентные сотрудники высмеяли и моего друга. Наутро он обнаружил в газете статью этих самых двух насмешников — пьесу они оценили как крупнейший вклад в советскую драматургию, а спектакль — как победу театра. Мой друг не верил своим глазам. «Диалектика, — как ни в чем не бывало, усмехнулись насмешники. — А ты учись, в газете и не то бывает...»

Но лучше всего, по-моему, охарактеризовал советскую прессу другой мой друг, полный юмора и сарказма. Как-то, взглянув то ли на «Правду», то ли на «Известия», он сказал: «Не понимаю, к чему этот устарелый лозунг там, наверху: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Я бы поставил другой, куда более определяющий сущность газеты: «Не твое собачье дело!»

Не твое собачье дело! Что дают, то и жри. Люди поумнее тебя делают газету. И все давно к этому привыкли. И к нечитаемым передовицам, и к пропускаемым статьям, и к отсутствию серьезных, действительно что-то комментирующих комментаторов или просто к отсутствию их (читай коммюнике, сам разбирайся!), к умению замалчивать то, о чем говорит вся мировая пресса (Уотергейтское дело, например), или преподносить факты в совершенно искаженном виде (ближневосточные войны), а в общем-то к удивительной, обретшей все формы профессионализма дезинформации. Я не говорю уже о критике каких-либо действий правительства — это начисто исключено. Немыслим и шарж, даже дружеский, на кого-либо из членов правительства (учитесь, учитесь, французские газеты, что вы со своим Жискаром делаете...). За всю свою сознательную жизнь я могу припомнить один только случай, когда в лакейски-шутливой форме изображен был в газете Хрущев. Он отправился на «Балтике», роскошном турбоэлектроходе, в Нью-Йорк на сессию ООН и изображен был в виде капитана у штурвала. Вокруг сияли всякие «миры» и «дружбы», а в волнах барахтались излюбленные пигмеи Уолл-стрита и Пентагона... Больше не припомню. Кажется, только в двадцатых годах появлялся на страницах «Крокодила» Ленин, но и это более чем отдаленно можно было назвать карикатурой. Да что карикатуру, просто фотографию в неустановленном, неутвержденном ракурсе дать нельзя — только с этой точки, слева Брежнев (до этого Хрущев), справа Саадат (до этого Насер), посередине стол с нарзаном и наточенными карандашами. А Мавзолей только фронтально и чтоб все поместились — в горошинках этих и

не поймешь, кто — кто. Того же Брежнева или Косыгина, снятых западными корреспондентами, пошли ты их по почте, не пропустят — чего это у него рот раскрыт, несолидно.

Привыкли!

И я привык... Читаю газеты с десятилетнего возраста. Помню еще греко-турецкую войну, Вашингтонскую конференцию по морскому разоружению, нескончаемый поток борис-ефимовских Чемберленов (помню одну из, очевидно, последних карикатур на въевшегося в наши печенки «незадачливого» премьера — Борис Ефимов стоит на коленях, держит в руках очередную челюсть и монокль сэра Остина, и подпись: «Прости, читатель, опять Чемберлена нарисовал!», помню «Пролетарскую Правду» на синей бумаге (я бегал ее читать, вывешенную на каменной стене возле университета), помню и рождение первой киевской «Вечерки» — но это уже позже).

На моих глазах советская пресса из агитационной (полуживой еще) превратилась в тенденциозную (насквозь лживую), из читаемой (ленинградская «Красная газета») в просматриваемую. При мне еще были такие фельетонисты с собственным (относительно, конечно) лицом, как Сосновский, Зорин, Заславский, Мих. Кольцов. На моих глазах все деградировало и превратилось в то, что мы имели в сталинские годы и имеем сейчас — уныло-призывно-лозунговое, тянущее на зевоту.

И вот, несмотря на все это — скуку, серость, штампы, повторяемые газетами всех союзных и автономных республик, одним словом, «не твое собачье дело», — газеты раскупают, подписываются на них (коммунисты в порядке партийной дисциплины, после на партбюро неподписавшихся стыдят и укоряют) и, как ни странно, читают, сердятся, когда газета опаздывает. Конечно, какая-нибудь «Литературка» или «Советский спорт» (самая читаемая газета, как и журнал «Здоровье» или «Работница» — выкройки) несколько отличаются от «Правды» — бывают даже интересные статьи и разборы, — но «Правда» считается образцом, святым писанием, и критиковать ее или даже не соглашаться с чем-то в ней не разрешается, упаси Бог. Именно поэтому (забавно, но что поделаешь) подшивки старой «Правды» в спецхранах библиотек выдают только по специальному разрешению — ведь «отдельные допущенные ошибки» допускались не партией и не ее центральным органом, а ты там вдруг прочтешь то, что тебе сегодня не положено.

Не положено! Не положено читать, не положено видеть, не положено слышать, короче — не положено знать!

* * *

Незадолго до моего отъезда за границу я был приглашен к ответственному секретарю Союза писателей Украины. Десять лет тому назад он был вторым секретарем Ленинского райкома, и мы встречались с ним довольно часто по поводу моих «партийных дел». Тогда молодой, довольно бойкий человек, он пытал-

ся в чем-то меня уговаривать и даже как будто симпатизировал мне, что не мешало ему проголосовать за мое исключение. Сейчас это был разжиревший, очень поважневший чиновник (основанием для его приема в Союз писателей оказался какой-то его очерк о поездке в Непал), пригласивший меня, не столько интересуясь моими делами (впрочем, конечно, и интересуясь), а в основном чтоб подготовить почву для моего исключения (без «беседы» некрасиво). Беседа была бессмысленная, а с моей стороны даже агрессивная. Я спросил его, к слову, читал ли он Солженицына. Он замялся — кое-что читал. Что значит кое-что? «Ивана Денисовича»? Он вроде как утвердительно кивнул головой. Ну, а «Раковский корпус», «В круге первом»? В ответ что-то неопределенное. Когда же я спросил об «Архипелаге ГУЛАГ», он, не дослушав, выпалил: «Конечно, нет, что вы. Я антисоветчины не читаю!» Сколько ни пытался я убедить его, что нельзя, просто неприлично ему, руководителю Союза, не ознакомиться (при полной возможности и безнаказанности) с книгой, о которой столько сейчас говорят и пишут, он только мотал головой: «Нет, нет, антисоветчину я не читаю...» До сих пор не могу понять, где он врал, где говорил правду.

Не положено! Не положено читать, видеть, слышать! Не положено знать!

Моего следователя, виноват, следователя по особо важным делам полковника Старостина больше всего интересовало, почему я читаю (храню!) антисоветские издания. Высокий, седой, приторно вежливый, с псевдоинтеллигентной, улыбающейся (кроме тех случаев, когда он не улыбался, а не улыбался он в моменты, когда ему казалось, что он припер меня к стенке) физиономией, весь в планках и юбилейных значках, встречал меня всегда подчеркнуто любезно, прикладывая руку к сердцу: «Как здоровье уважаемой Галины Викторовны и неведомой мне, но, говорят, прелестной Джульки?» (Джулька — это собака.) Потом делал гостеприимное движение в сторону моего стула: «Что ж? Продолжим нашу работу?» И мы продолжали нашу работу, длившуюся шесть дней, с утра до позднего вечера, с перерывом на обед. Все это происходило в его кабинете Комитета госбезопасности на знаменитой Короленко, 33.

Возле него, на столе слева, высилась стопка изъятых у меня во время обыска «материалов» — он приносил их, уносил, приносил новые.

— Рукопись неизвестного автора, отпечатанная на пишущей машинке, через два интервала, на белой, нелинованной бумаге. Так? Так. Страниц — одну минуточку — раз, два, три, четыре — четыре неполные страницы, — все это диктуется стенографистке, потом ласково-улыбчатый взгляд в мою сторону: — С какой целью эта рукопись хранилась у вас?

Я отвечал, стараясь быть разнообразным в своих ответах, что-то забыв, что-то припоминая, на что-то отвечая быстро и четко. Мне казалось тогда, что я отвечаю умно, правильно, не вызывая сомнения в правоте моих ответов, тем не менее основное чувство, которое я тогда испытывал, это был стыд. Стыдно, что вдаешься в подробности, в чем-то оправдываешься, что вообще отвечаешь, а главное, пытаешься показать, что все это тебе нипочем. В перерывах, во время перекуров, мы говорили о посторонних вещах, например о том, что он отдыхал когда-то с Твардовским и играл с ним в шахматы, и я тоже что-то говорил о

Твардовском, и вообще можно было подумать, что мы с моим полковником тоже разыграем сейчас партию-другую.

От чувства стыда я не могу отделаться до сих пор. Немолодой человек, писатель должен доказывать, что он имеет право читать книги. И еще объяснять, почему та или другая книга его интересует...

— Ну зачем вам вся эта антисоветская макулатура? — возмущался он, указывая на солидные стопки «Paris Match», «L'Express», «L'Observateur». — Что здесь может быть интересного?

И я, как дурак, пытался объяснять, что это журналы, которые во Франции читают все, от рабочего до министра, и что не вижу никакого криминала, ну и т. д.

Кстати, среди изъятых (потом, правда, возвращенных) материалов были «Беседы преподобного Серафима Саровского» издания 1878 года, альбомчик фотографий помпейских фресок (в протоколе значилось — «порнографический альбом») и расписка моей домработницы, что она получила такую-то сумму в счет чего-то.

В протоколе обыска, длившегося сорок два часа, насчитывалось шестьдесят страниц со ста пунктами изъятых материалов, в том числе хирургический скальпель моей матери — врача — холодное оружие.

Каждый раз, возвращаясь с допроса, я спрашивал себя — зачем все это затеяно, с какой целью? Неужели они действительно думают, что у меня можно найти что-то такое, что может принести вред государству? Зачем забрали магнитофон, пишущую машинку, фотоаппарат?

Ответ я получил через неделю, в субботу.

За большим столом большого кабинета сидел красивый, с черными большими усами, хитроглазый улыбающийся человек в штатском, лет пятидесяти или около этого. Генерал. Второй по значению чин КГБ Украины.

При моем появлении встал. Предложил папиросы. Несколько минут разговор шел о качестве табака, о кашле, о том, что пора бросать. Улыбка не сходила с его уст. От курева перешли к литературе. Мои заслуги в этой области оцениваются очень высоко. «В окопах Сталинграда» — лучшая книга о войне. И, наконец, начало серьезного разговора. Как же так это получилось — все та же улыбка, — что из окопов Сталинграда я перебрался вдруг в окопы холодной войны? Вопрос достаточно ясный. Из дальнейшего выясняется, что сейчас, в период обострившейся идеологической борьбы (не могу припомнить, было ли когда-нибудь время, когда она притуплялась?), всем нам, а таким людям, как я, в особенности, нужно четко и недвусмысленно определить, по какую сторону баррикад они находятся. Вот, пожалуйста, — крупнейшие академики, писатели, деятели культуры не скрывают своего возмущения по поводу кое-каких действий кое-каких лиц (имена Сахарова и Солженицына за все время разговора ни разу не упоминались). Так вот — все в ваших руках. Любая газета, сами понимаете, с удовольствием предоставит вам свои страницы. После паузы разговор переносится на то, что я, вероятно, устал (последняя неделя была все-таки, вероятно, утомительной?), что не мешало бы мне поехать куда-нибудь отдох-

нуть (вы, кажется, поклонник Коктебеля?), а заодно и поработать... А потом наш товарищ к вам подъедет... И опять пауза... Подлиннее предыдущей. «А то, знаете ли, — улыбка на минуту исчезла, потом опять появляется, — найденного у вас во время обыска вполне достаточно, чтоб ваш образ жизни несколько изменился. — Хитрые глаза на секунду становятся серьезными. — В соседней комнате сидят двое молодых людей, которые сразу могут это исполнить, скажи я им только слово...»

Но слово так и не было сказано, очевидно, решено было, что еще рано. И все же это были не самые приятные минуты в моей жизни.

— Подумайте, подумайте, — сказал он мне на прощанье. — Очень нам бы помогли, — и крепкое мужское рукопожатие.

Вот такой вот разговор. Я изложил суть, выжимку — посредине были и фронтовые воспоминания, и примеры из жизни, и легкое мое хвастовство — мол, стреляный-перестрелянный, немцы от меня были в шестидесяти метрах в Сталинграде, но суть была ясна: всё в моих руках.

На следующий день он позвонил по телефону (я сразу не узнал и в трубке услышал укоризненное: «Так быстро забыть, а я-то думал...») и спросил, в каких издательствах или редакции лежат мои рукописи. И дальше, со смешком: «Надеюсь, ничего антисоветского в них нет? Ну, что ж, может, и поможем как-нибудь...»

Через день мы с женой были уже в Кривом Роге, у детей — отдохнуть действительно не мешало.

* * *

Февраль был теплый, мягкий, почти без снега. Я слонялся по улицам мало-знакомого мне города и все думал о том, как постепенно отчуждаюсь от своего родного и, как мне казалось, любимого Киева.

Когда-то, проходя по той или иной улице, слоняясь по дорожкам Марийского или Царского сада, я вспоминал — вот здесь я впервые прошелся под ручку с девушкой, а здесь, на мосту над Петровской аллеей, впервые поцеловался, а здесь купил первую поллитровку, первую пачку папирос... А теперь? Прорезная, ныне Свердлова, на всю жизнь будет памятна мне визитами к милейшему моему полковнику Старостину, а симпатичная лестница в конце Ирининской — возвращениями от него, а здесь, в подземном переходе у Бессарабки, меня схватили под локотки два милиционера, и через полчаса я оказался в вытрезвителе, хотя трезв был как стеклышко. А в другом переходе, у Почтамта, я как-то завел игру с «мальчиками», следовавшими за мной по пятам. Откровенно говоря, я, то ли по рассеянности, то ли по легкомыслию, никогда их не замечаю. Но Витя, сын моей жены, верный мой друг, засекает их сразу: «Поглядите на того. Факт. Наш!!!» И действительно оказывается «нашим». Так вот, однажды дикий ливень загнал меня с Витькой и тремя «нашими» в подземный переход. И захотелось мне, из озорства, что ли, познакомиться с ними по-

